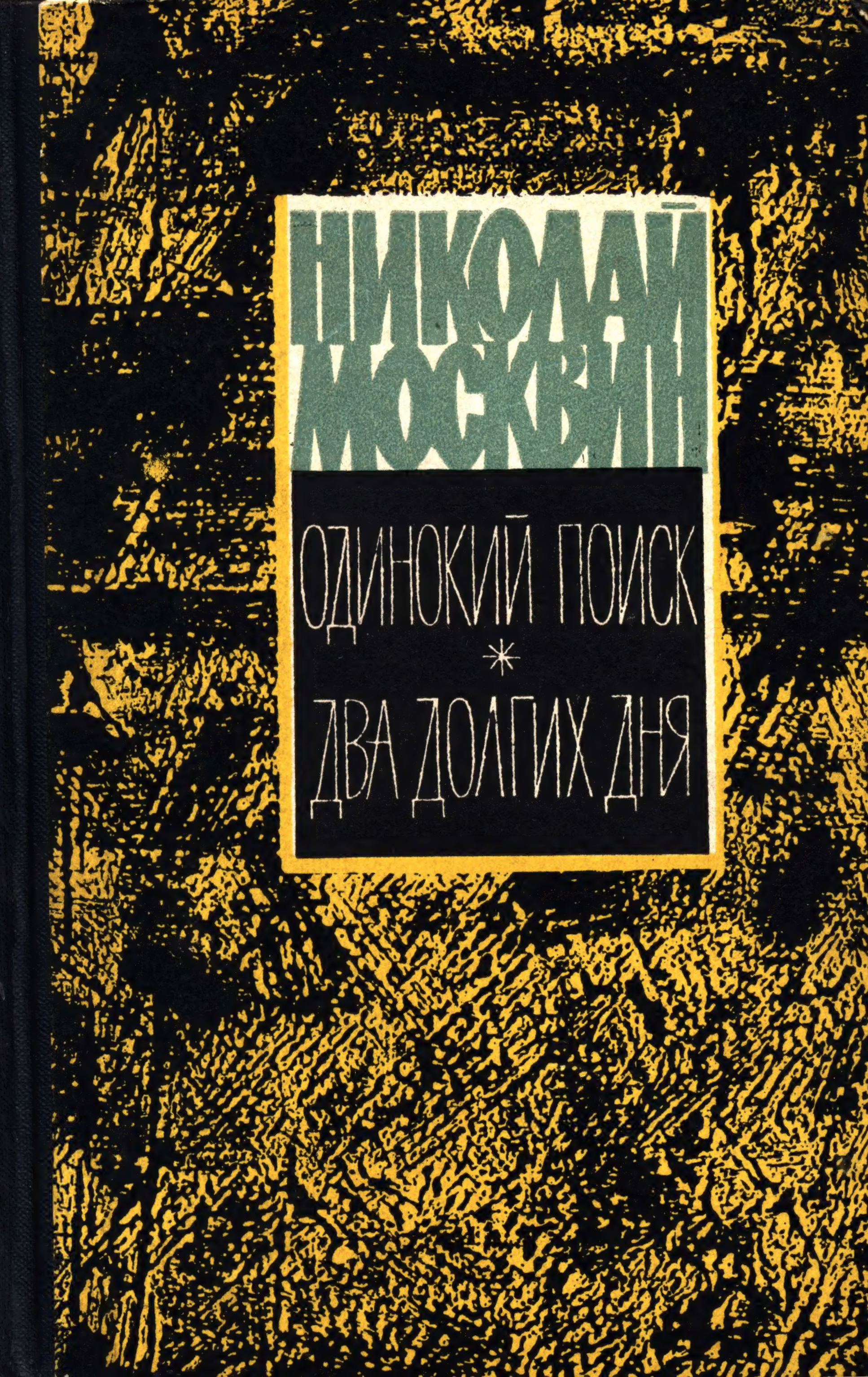
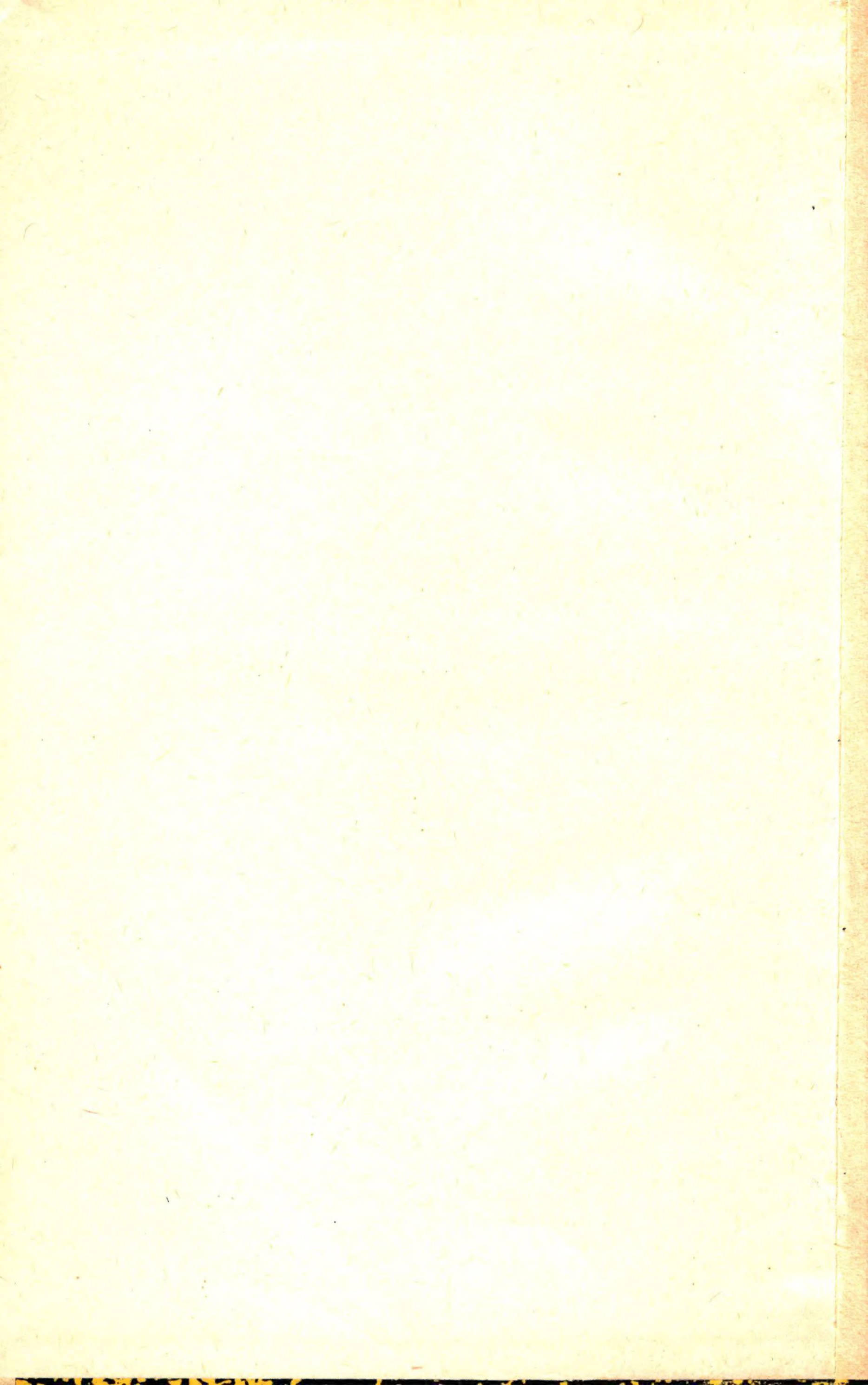

НИКОЛАЙ
МОСКВИН
ОДИНОКИЙ ПОИСК
ДВА ДОЛГИХ ДНЯ

Гена!
Поздравляю
тебя с днем
рожденья.
от
Н. П

25/II/64 года.



Н И К О Л А Й   М О С К В И Н

ОДИНОКИЙ ПОИСК

ДВА ДОЛГИХ ДНЯ

П О В Е С Т И

Издательство „СОВЕТСКАЯ РОССИЯ“ Москва 1963

Р 2
М 82

ОБ АВТОРЕ И КНИГЕ

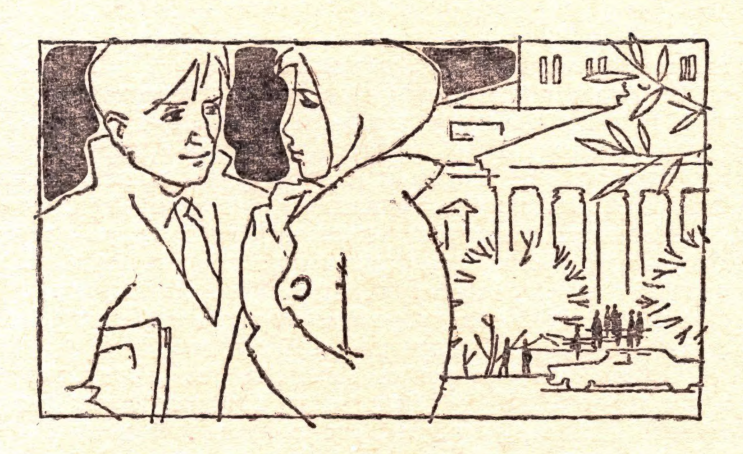
Николай Яковлевич Москвин родился в Туле в 1900 году; окончил Тульское реальное училище, был в Советской Армии — слушателем высшей военной школы, военным преподавателем. Участвовал в гражданской войне.

Литературную деятельность начал в 1925 году — в год демобилизации из армии и окончания Высшего Государственного литературно-художественного института имени В. Брюсова.

Перу Н. Я. Москвина принадлежат романы «Гибель реального» (1931 г.), «Маска» (1933 г.), сборники рассказов: «Встреча желаний» (1936 г.), «25 рассказов» (1940 г.), «Чистые пруды» (1947 г.), «След человека» (повести и рассказы, 1957 г.), «Лето летающих» (повесть, 1958 г.) и другие.

Две повести, входящие в настоящий сборник, объединены морально-этической темой. Внимание писателя привлекают люди со сложной, нелегкой судьбой, не сразу находящие верный путь в жизни. Их искания, ошибки, изменение отношения к окружающему миру — вот главное, что составляет содержание новых повестей Н. Москвина.


ОДИНОКИЙ ПОИСК
ПОВЕСТЬ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

> Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова.
>
> *А. Пушкин. «Пиковая дама».*

Книги бывают хранилищем.

В одном специальном музее мне показали страшную книгу. Обычная, в плотном переплете, но открываете ее, и перед вами — яма!.. Начиная с первого листа и до последнего — текст вырезан, остались только белые рамки полей, которые и сохраняют форму книги. В этой книге — вернее, теперь в коробке с толстыми белыми стенками — кто-то, что-то проносил тайком...

Но это — музейный экспонат, обычно же в жизни находятся люди, которые почему-то любят закладывать в книги (в том числе и библиотечные) всякие квитанции, талоны, билеты... И тут же забывают. Иногда по прошествии времени такое коварное хранилище само открывает забытое, но... уже поздно.

Однажды при мне произошло одно из таких открытий.

Гости поджидали хозяина дома, работающего в министерстве, который хотя сегодня и был именинником, но запаздывал. Те странные времена, когда ответственные работники засиживались в учреждениях до ночи, а в слу-

жебные часы отсыпались дома, давно миновали, но наш Борис Данилович все же иногда грешил этим. Однако на этот раз причина была другая.

Он вошел с победным видом, держа в высоко поднятой руке толстый номер журнала в оранжевой обложке. Это был дореволюционный «Вестник Европы» с какой-то давно разыскиваемой Борисом Даниловичем статьей. Он был книголюб, захаживал к букинистам, и сегодня ему повезло.

Хотя гости выжидающе поглядывали на дверь в столовую, Борис Данилович, приглаживая седой ежик волос, прошел к своему письменному столу и, по-старомодному спросив у гостей «Вы разрешите?»,— стал деревянным ножом быстро разрезать принесенный журнал.

Сейчас эти деревянные ножи отходят в прошлое, ибо наши типографии выпускают свою продукцию уже разрезанной. В старое же время это не всегда делали — может быть, во избежание лишних расходов, а может быть, для свидетельства того, что книга или номер журнала девственно-новые, еще никем не читанные (В «Графе Нулине» слуга приносит: «...графин, серебряный стакан, сигару, бронзовый светильник, щипцы с пружиною, будильник и н е р а з р е з а н н ы й роман»).

Итак, наш книголюб, светясь от удовольствия, что наконец-то достал давно разыскиваемое, разрезал листы, которые образовывали в неразрезанном журнале как бы карманы и которые он теперь обращал в обычные страницы. Вдруг замелькало, посыпалось на пол что-то голубое... Мы бросились, подняли. Это были новенькие, хрустящие двадцатипятирублевки с царскими портретами...

Их было двадцать штук. После шума, возгласов удивления Борис Данилович каждому из гостей дал по бумажке на память, остальные положил на край стола, и мы, смотря на них, начали было фантазировать — как же э т о было? — но тут хозяйка решительным голосом позвала всех в столовую.

Но и за именинным столом, после первых рюмок, мы продолжали обсуждать давнишнее, судя по дате журнала, пятидесятилетнее событие. Один из гостей предположил, что о н (далекий, неизвестный он!), возможно, припрятал от жены карточный выигрыш; другой — что о н отложил полученные к Рождеству наградные на черный день; третий гость сказал, что, может быть, о н, находясь при стесненных обстоятельствах, продал из своей конюшни

любимого рысака, а потом не решился тратить эти горькие деньги; четвертый — не верил этот самый он в банк и спрятал деньги в бумажную кубышку. И так далее...

Только один из гостей — неторопливый, светловолосый, в мешковатом сером костюме, Нетелов Дмитрий Устинович — сказал совсем другое:

— Как бы там ни было, а хорошо только одно: что на бумажках этих нарисованы царские портреты! — Он неторопко ловил вилкой скользкий рыжик у себя на тарелке.— А то пришлось бы находку тащить обратно.

Кто-то сказал, что это верно: в магазине, где куплен журнал, можно было бы установить, кто его продал. Кокетливая старушка с вычурными серьгами, сидящая рядом с хозяйкой, заметила, что, будь это действительные сейчас деньги, Борису Даниловичу полагалась бы тогда одна треть от находки.

— Это еще неизвестно! — помедлив, отозвался Нетелов.— Да и то — одна треть! — он шутливо заподмигивал.— А разрезай Борис Данилович журнал без нас, наедине, то было бы ему все три трети! Верно ведь? А здесь нельзя: свидетели были...

Старушка не поняла шутки.

— При чем же здесь свидетели? — сказала она, поджимая губы.— Неужели Борис Данилович...

Но тут на другом конце стола застучали по тарелке и объявили, что пора теперь выпить за присутствующих дам. Однако, поднимая рюмки, кое-кто покосился на Нетелова — может быть, тоже не поняли его шутки.

* * *

... Кто знал, что примерно через полгода и этот случай с журналом, и этот разговор за столом вспомнятся Нетелову при весьма беспокойных и при весьма важных для него обстоятельствах.

2

> Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь!
>
> *«Пиковая дама»*

Есть люди, которые, переоценив свои возможности, не достигают того, чего они хотели бы достичь. Тогда они берутся за другое, но тоже для них непосильное; затем —

хватаются за третье... Так приходит ощущение неудачливости. Но не у всех. Натуры самолюбивые, эгоистичные и помыслить не могут, что они ошиблись в своих силах. Они выходят из этого положения двумя путями: или отрицают, что неудача вообще была, или же — если неудача уж очень очевидна — перекладывают вину на плечи кого-то другого.

Эти самоутешения, наивный обман самого себя подрывают душу, делают человека замкнутым, обидчивым.

Так было и с Дмитрием Нетеловым. За тридцать два года его жизни немало было у него неудач, ошибок. Поступал в технический вуз, потом — в художественный институт и не прошел по конкурсу. Виной этому — как он себя убеждал — были не его недостаточные знания и не его недостаточные живописные способности, а разные влиятельные записочки, которыми запаслись невежды и бездарности. Пришлось не погнушаться и черной работой на московских стройках, однако долго на одном месте не держался, но не потому, что было физически тяжело — люди, любящие, почитающие себя, не сознаются даже в этом,— но потому, что, как он объяснял, прорабы были грубы и не ценили его...

Через год поступил, наконец, в техникум прикладного искусства, с хорошим аттестатом пришел на текстильную фабрику расписывать ситец и штапель. Казалось бы, все теперь ладно — работай! — но ушел с фабрики. Работа там досталась кропотливая, усидчивая, да и заработок не бог весть какой, а он был ленив, рассчитывал на большие деньги. Но голос самоутешения сказал ему другое: «Я по природе художник, а тут корпеть над какими-то горошком и цветочками...»

Женился на глупой, пустой женщине и долгое время — он не может ошибаться! — не признавал этого. А когда уже нельзя было не признать, нашел виновных — это, оказывается, родные не удержали его, молодого и неопытного, от такого неосмотрительного шага. Ушел от жены, скитался по углам, по временным комнатам. Ему, обещая хорошие условия, предлагали ехать на периферию театральным декоратором, и человек, справедливо относящийся к себе, конечно, поехал бы. Но для лица, не желающего замечать свои злоключения, это выглядело бы признанием: в Москве дела не пошли, надо ехать в провинцию. Кроме того, про себя Дмитрий считал, что место красит человека, что у него есть, так сказать, чин москви-

ча, а его уговаривают от этого чина отказаться. И тут, пожалуй, его можно было понять: не имея пока ничего, приходится держаться хоть за эфемерное...

И много еще было подобного, но к тому времени, когда произошел случай со старым журналом, жизнь Дмитрия Устиновича Нетелова уже как-то устоялась, укрепилась.

Когда еще заготовлял рисунки на текстильной фабрике, подвернулась как-то случайная работа: для главка надо было оформить выставку образцов ситца. Сделал это быстро, работу его похвалили, хорошо оплатили. И когда ушел с фабрики, походил без дела, вспомнил об этом... А что же! И не трудно будет, и денежно, и все же это к художеству ближе, чем текстильные рисунки. И, главное, никакой службы, никаких обязательных часов — делай, когда хочешь... В бытность еще на фабрике видел заграничный фильм о стародавнем композиторе и позавидовал тогда: посидел час-другой за роялем, а потом весь день, заложив руки за спину, гуляй по бульварам, заходи в кафе. Вот и он тоже...

И верно, дело это у него пошло. Во многих учреждениях находились начальники, которые желали видеть работу своего учреждения, изображенною в каких-то наглядных рисунках, таблицах, диаграммах. Правда, около этих художеств народ не толпился, да и сам начальник смотрел на них только в тот день, когда подписывал счет оформителю, но все же в случае какой-нибудь ревизии, инспекции неплохо было протянуть руку к стене кабинета со словами: «А вот, пожалуйста, взгляните! То же самое, что я говорил, но, так сказать, в художественном изображении».

Находились также директоры заводов и фабрик, которые любили всякие отчетные выставки. Тут уж художества Дмитрия Устиновича занимали большую площадь — они выставлялись в вестибюле местного клуба или в каком-нибудь зале заседаний. На такую работу обычно шел излюбленный оформителями рытый бархат пронзительно-голубого цвета, на фоне которого Нетелов помещал всякие аппликации, состоящие из рисунков, фотографий и золотой бумаги... Подобная выставка тоже не собирала народ — смотрели ее только в день открытия,— потом она стояла в запустении, рытый бархат усердно собирал пыль, ежедневно поднимаемую уборщицами.

Нетелов, конечно, чувствовал какую-то бюрократическую напрасность и в кабинетных диаграммах, и в отчетах

на голубом бархате, но в отличие от другого труда, которым он занимался ранее в жизни, этот оформительский, выбранный, так сказать, не обстоятельствами, а им самим, он ценил. И как всегда это делал, старался это свое, личное представить в выгодном и лестном для себя свете. Он так и говорил знакомым:

— Полная самостоятельность, никто не вмешивается в творческий процесс.

По прошествии же времени, когда Дмитрий Устинович порозовел лицом, приоделся, приосанился, стал бывать то там, то здесь, он как-то сказал, уже искренне, без самоутешительства, и уже не о творческом процессе:

— Тут что хорошо! Нет крохоборчества. Все желают, чтобы их достижения выглядели эффектно. Поэтому не наводят экономии ни в материалах, ни в оплате...

Это сказанное, может быть, невольно было сейчас для него главным: бог с ней, с публикой, которая проходит мимо его ненужных художеств, но деньги-то платят! И немалые...

Тут-то и началась для Нетелова жизнь-дорога — древняя, исхоженная — беспамятно вперед и вперед, от одних денег — к другим... Нет, он не похаживал по бульварам, вроде того давнишнего — из кино — композитора, а набирал и набирал заказов. Правда, больше искал, чем набирал, но все же это было теперь куда привлекательнее, чем композиторские моционы. И древняя дорожка приводила к древнему же коварному превращению — была душа одной, а стала другой... Как пыль дорожная: не только на ноги садится, но если долго идти, то и на зубах скрипит...

3

Когда за именинным столом по поводу находки денег с царскими портретами Дмитрий Устинович высказал — хотя и в шутку — нечто похожее на корыстолюбие, это не было случайным: и жизнь его, и душевное расположение к такой жизни давали о себе знать. И событие, о котором пойдет речь, происшедшее полгода спустя, пошло по тому же пути.

...В первых числах июля Нетелов отправился в профком за путевкой на Кавказское побережье, под Туапсе. Он долго хлопотал о ней, так как сюда, под Туапсе, ехала одна де-

вушка, знакомство с которой только началось и потому было в самой лучшей стадии.

В профкоме бойкая женщина в желтых кудряшках, которая занималась путевками, протянула Нетелову красивый, сложенный вдвое листок с нарисованными синими кипарисами.

— А вот не взяли бы в Феодосийск? «Горящая», так сказать, путевка... Прекрасный дом отдыха! В Крым и дорога дешевле, чем на Кавказ.

Нет, Дмитрию Устиновичу, конечно, никакого Феодосийска не надо было! Эта, в кудряшках, понятно, не знала, какое значение имело для него именно Туапсе. Чуть-чуть — и то, наверное, только из-за склада его характера — задели лишь слова: «Дорога в Крым дешевле», но тут же пропали.

Нетелов посочувствовал приунывшей женщине, успокоил ее — в конце-концов, «горящую» можно сдать,— внес деньги в бухгалтерию, получил свою путевку под Туапсе и поехал на край Москвы, в сторону Измайловского парка, где в одном из клубов готовилась выставка.

Столяры уже сколотили фанерные стенды, установили их, загородив окна, отчего в вестибюле клуба уже днем зажгли свет. Остановка теперь была за дальнейшим: краской будут покрывать стенды или материей? Увидав входящего художника, два столяра, бросив папироски, поднялись, пошли к нему навстречу.

— Может быть, Дмитрий Устинович,— сказал один из них,— пока суть да дело, морилкой по ним пройтись?

Столяры знали, что у художника-оформителя нелады со скупым директором завода, но Нетелову было неприятно, что они знали, какие именно нелады: ему, руководителю работы, директор не отпустил — как обычно это делали другие директора — подотчетную сумму, а сам, по мере надобности, давал деньги, то есть вмешивался в расходы. Для самолюбия Нетелова это было тяжело. Кроме того, экономия директора на материалах для оформления могла повлиять и на оплату труда самого оформителя.

Дмитрий Устинович, не отвечая столярам о морилке, потрогал, покачал стенды: плотно ли стоят.

— Вот этот чего-то хромает,— сказал он.—Надо того...

И неторопливой походкой, откинув русые волосы назад, со строгим, как бы обличающим взглядом он, перейдя улицу, направился в заводоуправление — в кабинет директора.

Нетелов любил заранее приготовлять эффектные фразы и потому, пока переходил улицу, два раза повторил про себя: «Если у завода не имелось возможности устроить приличную выставку, то можно было купить только коробку канцелярских кнопок, и все экспонаты просто приколоть к любой стене!»

И с выражением иронии, подняв белесые брови, он сказал это в кабинете. Но разговор получился резкий, громкий, заготовленная фраза была смята, и тот, кому она предназначалась, не смог оценить ее. Директор был какой-то новой формации — в узких брюках, в галстуке-бабочке, тонкий, хрупкий телом — и, вероятно, из-за своего довольно малого директорского стажа, не любил долгих, нудно-обстоятельных разговоров.

— Слушайте, дорогой товарищ-художник! — прервав Нетелова, сказал он.— Царская Россия славилась казнокрадами... Это были лихие люди. Один, я читал, даже ухитрился украсть и перепродать железнодорожную ветку с паровозами, с семафорами и с усатыми кондукторами. И эти ловкачи большого осуждения в обществе не вызывали. Ведь что такое казенные деньги? Это — ничьи деньги!.. Но у нас не то! Нет, казна у нас не та! Наш завод ворочает миллионами, но дать вам двести рублей на дурацкий голубой бархат я не могу. И не дам! Мы устраиваем выставку не для парада, а для обмена опытом. И ваш бархат тут ни к чему. Сейчас принято ссылаться на высокие моральные кодексы, но ко мне это не относится: я и до этого берег народную копейку!..

Дмитрий Устинович с тем же строгим, но уже обиженным лицом вернулся в клуб и с независимым видом — будто это он сам решил — сказал столярам: покрывать стенды морилкой. Отгоняя обидный для него разговор, он с озабоченно-деловым видом покопался в фотографиях-экспонатах и в заготовленных — пока в карандаше — заставках и виньетках; примерил на стенде некоторые из них то так, то сяк; потом сказал столярам, что именно делать дальше и, многозначительно хмуря белесые брови, вышел из клуба.

4

На метро доехал до библиотеки Ленина, тут, неподалеку, на углу Манежа, он должен был встретить Ларису Николаевну — ту самую, которая в середине июля тоже

ехала в Туапсе. Но до встречи оставалось еще полчаса, Нетелов зашел в нижний этаж Военторга, выпил томатный сок, съел холодный, похожий на коричневую резину пирожок и по дороге к Манежу забрел еще в маленький магазин букинистической книги. Дорожа деньгами, он книг не покупал — считая, что все можно достать в библиотеке,— но знал, что рыться в книгах — занятие благородное, интеллигентное, да и можно иной раз напасть на что-то и интересное, и дешевое. И сегодня, действительно, подвернулся «Альбом шрифтов», изданный в 1933 году. Вот это дело! И с большой скидкой.

Когда он подходил к углу Манежа, Лариса Николаевна уже стояла там: оказывается, ей на службе дали два билета на просмотр осенних моделей одежды, и надо было торопиться.

— «Это хорошо, но не то, что нам нужно!» — улыбаясь, сказал Нетелов.

Это была ходячая фраза среди художников: когда-то какое-то важное, но глупое лицо, принимая от какого-то их собрата не то проект выставки, не то эскизы книжных иллюстраций, сказало это.

— Почему?

Лариса Николаевна была одного роста с Нетеловым, но, как женщина, казалась выше его. Длинноногая, с тонкими руками, в коротком желтом платье, она напоминала вытянувшуюся девочку-подростка. И в ее «почему?» слышалось тоже что-то ребячье.

— А потому, что мы хотели погулять, а потом где-нибудь пообедать вместе.

— Ну пусть это будет вместо прогулки.

По правде говоря — лучше бы она сказала «вместо обеда». Хотя в последние годы он не испытывал затруднений в деньгах, но от былых невезучих лет осталась боязнь ресторанов: и дорого, и счет — если пришел не один — не проверишь. Он подумал почему-то о сегодняшнем молодом директоре с галстуком-бабочкой и вместе с чувством обиды вспомнил его независимый, властный тон — вот этот, наверное, не скупится ни в книжном магазине, ни в ресторане...

По дороге к залу, где будет просмотр моделей одежды, Нетелов сказал, что путевку под Туапсе он для себя наконец-то получил, Лариса Николаевна была рада этому, послезавтра и она тоже получит, по телефону узнает о пред-

варительной продаже билетов, потом надо в Мосторг — там новые купальные костюмы... Но, говоря это, она следила за длиной платьев идущих впереди женщин, и, странно, от этих наблюдений ее желтое платье казалось ей то слишком коротким, то слишком длинным. Она как бы подготовляла себя к моделям , которые скоро увидит.

— Ну, вот это уж чересчур длинно! — сказала Лариса Николаевна, кивнув на маленькую женщину в сиреневом платье.— И зачем она еще такую шляпу надела?

Нетелов усмехнулся. У него уже было свое мнение о женщинах малого роста, и он, как все приготовленное заранее, охотно сейчас высказал — с удовольствием даже высказал, так как к Ларисе Николаевне это не имело отношения.

— Ну, что вы... Это совершенно неважно, что длинно!.. — начал он.— На улице маленькие женщины находятся в выгодном положении: редко кто замечает, в чем они одеты. Они могут завернуться в простыню, воткнуть в волосы страусовое перо, и никто не обратит на это внимания. Поэтому эти крошки могут выходить на улицу в чем попало, не заботиться, не тратить деньги на наряды. Вот в масштабах комнаты с них другой спрос! Тут они царствуют... Так сказать, фем де шамбр...

Лариса Николаевна рассмеялась — она была не крошка и не хотела иметь такое выгодное положение — но, конечно, чтобы не показаться эгоистичной, стала возражать.

Когда они пришли в зал, там уже началось. Началось зрелище, как всегда, неизвестно на что рассчитанное. По помосту ходили длинноногие, с идеальной фигурой, красивые, изящные девушки, а вокруг, теснясь, сидели полные, коренастые женщины. Когда они, переговариваясь, наклонялись друг к другу, стулья трещали под ними. Еще работая на текстильной фабрике, Нетелову приходилось не раз бывать на таких просмотрах, и он всегда удивлялся: ведь не только форма одежды, но даже цвет и рисунок ее должен быть рассчитан на разный возраст и на разное телосложение. Показывают же на этих подмостках только молодых и только стройных.

Нетелов сказал Ларисе Николаевне, которая зарисовывала в блокнот костюм на манекенщице, что идет курить, и вышел в вестибюль. Здесь в низких окнах стояло солнце, но почему-то горела еще и люстра. В этом невер-

ном свете двое рабочих передвигали какой-то длинный, узкий, похожий на вагон, стенд. «И здесь, наверное, тоже будет выставка»,— подумал Нетелов и вспомнил свое сегодняшнее неприятное утро, а вслед за этим — заглавный стенд подготовляемой им выставки, который пойдет почти на одном шрифте.

Это напомнило о недавней покупке. Он вынул «Альбом шрифтов» и стал его перелистывать. Хотя это было издание 1933 года, но тут встретился и дореволюционный модерн — буквы, как бы вложенные друг в друга; и знаменитый альдино — шрифт первых советских плакатов. Нетелов вспомнил известные ему только по музеям: «Все на Колчака!», «Сбросим Врангеля в море!» — подписанные этим жирно-тонким шрифтом. Дошел до изящного и, несмотря на преклонный возраст, немеркнущего елизаветинского, состоящего из одних заглавных букв... Тут между страницами попалась какая-то сложенная вдвое бумажка, и он переложил ее дальше...

Переложил дальше!.. Нетелов потом вспоминал это даже с некоторым испугом: хорошо, что переложил дальше, а ведь мог эту бумажку просто уронить, выбросить!.. Позже, когда события развернулись, Дмитрий Устинович даже подготовил по этому случаю довольно пышную метафору: ведь в свое время, промывая золотоносный песок, старатели отбрасывали какие-то серые, невзрачные крупинки. А это была пла́тина, во много раз ценнее самого золота!..

Но это было потом, а сейчас, дойдя в альбоме до эрбара, призадумался: не этот ли шрифт пустить на заглавный стенд? А как гротеск? Или, может быть, обычный рубленый?

Тут из зала пришла Лариса Николаевна и сказала, что там, на демонстрации, пошли уже вопросы и ответы и что можно уходить.

Нетелов невольно нахмурился — ведь он вышел в вестибюль не для того, чтобы курить, рассматривать альбом, а чтобы подсчитать деньги, которые были с ним: хватит ли их после покупки альбома на хороший обед? И вот — забыл... Лариса стояла перед ним, наклонив голову, вся в желтом свете своего платья — легкая, стройная и какая-то родная, и он залюбовался ею.

— Ну вот и прекрасно. Пошли обедать! — живо сказал Дмитрий Устинович, решив сейчас, что досадовать, пожа-

луй, нечего, что все должно устроиться, а если будет какая заминка с деньгами, то такой человек, как Лариса, поймет его по-простому, по-приятельски...

И, увертываясь от длинного стенда, который рабочие опять стали передвигать, они пошли к выходу.

5

Он остановился и стал смотреть в окно... Германн увидел свежее личико и черные глаза.

«Пиковая дама»

Известно, что есть люди, которые не любят тех, кто умнее их. Особенно, если эти умники держатся где-то рядом. И особенно если они находятся в их подчинении, ибо недалеко до беды: не сегодня-завтра кто-то догадается, что произошла ошибка — этих людей надо поменять местами...

Нетелов про себя этого не мог сказать — постов он никаких не занимал, друзей и знакомых у него почти не было, единственный семейный дом, дом дальних родственников — где тогда произошел случай с царскими деньгами — он посещал очень редко.

И все же у него была область, где эта нелюбовь проявлялась: ему нравились те женщины, которые не просто слушали, а, так сказать, внимали его словам; и не любил тех, которые возражали ему, имели какое-то свое мнение. Хорошо еще, если это мнение он мог как-то опровергнуть, если же нет — доводы были справедливы, умны,— то его самолюбие не позволяло ему согласиться с этим справедливым и умным. И он продолжал упорно повторять свое. А так как он видел — не мог уже не видеть,— что это не настоящее опровержение, а просто неумное упрямство, то вскоре замолкал и почему-то обижался на собеседницу. Позже, как всегда, к нему приходило самоутешение: «Я был, конечно, прав, а то, что говорила она,— это другой вопрос».

Несколько встреч с такой женщиной, и она теряла для него всякий интерес. Лучше, конечно, были те, внимающие... И в своей холостой жизни (неудачный брак занял у него только год) он и искал таких.

И вдруг вот Лариса Николаевна, молодой врач — неглупая, энергичная, успевающая в жизни во многом и,

главное, никак не «внимающая»... Казалось бы —как и раньше случалось — отступай, тут будет тебе плохо, неспокойно, обидно... А вот остался. И действительно, бывало неспокойно, обидно. Все хорошо, пока встреча, прогулка или разговор, как сорока, с одного на другое, но вот набрели на что-то дельное, и — стоп! — Лариса Николаевна легко отодвигает нетеловское и уверенно, рассудительно утверждает что-то свое.

...За соседним столиком в ресторане сидели трое плотных, порозовевших от вина мужчин с малоосмысленными, деревянными лицами и две некрасивые, широкоплечие женщины, нарядно, но пестро одетые. Официантка подавала на этот стол то одно, то другое; толстенький повар в белом, лихо заломленном колпаке прямо из кухни принес сюда на сковородке что-то фырчащее и от жара даже подскакивающее.

— Такие люди,— сказал Нетелов, оставляя тарелку с остатками курицы,— не знают, куда тратить деньги.

Они посматривали на этот столик: Лариса Николаевна — спокойно, как бы не замечая; Дмитрий же Устинович — хмуро, с раздражением. Его злило, что какие-то — вероятно, торговые хапуги — так привольно и беззаботно бражничают, а он — человек интеллигентного труда — не может себе позволить, чтобы...

— Ну, а если у вас,— кротко улыбаясь, спросила Лариса Николаевна,— были бы большие деньги, вы знали бы, куда их тратить?

— Я?.. Смешно!.. Ну, конечно! — Дмитрий Устинович, медля, соображая, провел рукой по русым волосам.— Да, думаю, что знал бы... Во всяком случае, не на рестораны.

Лариса легким движением пальцев пододвинула к себе вазочку с компотным черносливом.

— Этому я охотно верю...— сказала она.— Ну, а все же, на что именно?

Как всякий тридцати-сорокалетний горожанин, Нетелов схватился за автомобиль, в крайнем случае, мотоцикл. Ну, еще неплохо — квартира, обстановка...

— Уверена, что у этих людей,— Лариса Николаевна повела бровью в сторону соседнего столика,— тоже есть и машина, и обстановка. За квартиру не ручаюсь, они у нас в общем не продаются. Ну, что еще? Четыре, пять... восемь костюмов? Сундук с отрезами? Дурацкая радиола? Серебряный самовар? Хрустальные люстры? Ну, что?

Нетелов почувствовал, что Лариса наступает, перечисляет какие-то мещанские радости. Он же — не очень быстрый на соображение — не может сразу назвать что-то хорошее, благородное, которое можно было осуществить на большие деньги. И это злило, относило его от женщины, которая ему нравилась. Да, все-таки насколько лучше, когда он что-то говорит, утверждает, а его охотно слушают, тут же соглашаются... Но вот на ум пришло то, что нужно.

— Ну, я мог бы собирать библиотеку...

Но и это было уничтожено Ларисой: собирают библиотеку, как известно, постепенно, собирают люди с обычным заработком. И главное: для этого нужны не столько деньги, сколько любовь к книгам, которой у него, у Дмитрия Устиновича, кажется, нет...

— А покупать просто так, чтоб только вложить деньги,— добавила она, отодвигая вазочку с косточками из-под чернослива,— это все равно, что в сундук складывать отрезы...

Ну вот, опять! И так легко, просто все полетело к черту... Да еще, оказывается, он книг не любит. И будет собирать их как в сундук... Природная обидчивость просила, требовала насупиться, нахмуриться, но он посмотрел на Ларису, которая допивала остатки рислинга в своем бокале, и на лице ее не заметил и тени торжества — нет, в ее глазах было то милое, доброе и какое-то родное выражение, которое он любил.

Они расплатились и вышли из ресторана.

Часы показывали без чего-то шесть, служилый народ уже прошел, но на улицах было еще людно. Переулками они дошли до Трубной площади. Длиннотелый трамвай тяжело лез на Сретенскую гору. Они двинулись за ним, поравнялись с бульваром и вошли под деревья.

Разговор, начатый за столиком, все продолжался.

— В том-то и дело,— говорила Лариса Николаевна, усаживаясь на первую скамейку,— что в наших условиях некуда тратить большие деньги. Из литературы мы знаем, как с ними поступали раньше. Если человек имел капитал, то он его пускал в дело: строил фабрику, или покупал землю, или вкладывал в какие-нибудь акции, в выгодные предприятия — то есть чтобы большие деньги приносили бы новые деньги... У нас же этого нет...

— Это другой вопрос! — как всегда, не принимая чужого и упрямо отстаивая свое, сказал Нетелов.— Вы гово-

рите о том, когда деньги добывают деньги, а у нас речь шла о другом: как, на что можно истратить большие деньги.

— Вы просто не хотите дослушать. Именно потому, что такие деньги у нас не пускаются в оборот и не могут пускаться, остается только их истратить на что-нибудь... А это не так просто, не просто, когда их много...

И она напомнила некие судебные отчеты, где живописалось веселое, но довольно однообразное времяпрепровождение: рестораны, попойки, дележ добычи; затем — для сундучного хранения — массовая закупка часов, колец, отрезов и, как вершина возможного приобретательства — сооружение дачи.

— И все же,— добавила она,— по тем же газетным заметкам мы знаем, что у этой публики еще много оставалось в наличности, и они прятали просто в кубышку...

Нетелову не терпелось возразить. Он поднял с земли опавший лист и, пока Лариса говорила, мелко, по бледным прожилкам надрывал его.

— Не об этом! Зачем же! — он отбросил лист.— Зачем же, простите, брать какую-то шпану!.. Людей, далеких от культурных запросов, когда...

— Но вы-то!.. Вы-то! — поддразнивая, вдруг воскликнула Лариса. — Вы-то, молодой человек с запросами, ведь так ничего иного, умного, не придумали? Значит, случись это с вами — тоже рестораны и сундуки? Да?

В другое время, с другим человеком, Нетелов, пожалуй, стал бы это самолюбиво опровергать, что-то доказывать, в придачу еще надулся бы — он не любил подшучиваний над собой. Но тут, сейчас, вдруг улыбнулся...

6

Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение...
«Пиковая дама»

Они простились у Петровских ворот поздним, но еще светлым июльским вечером. Договорились, когда встретятся вновь, когда будут брать билеты в Туапсе — хорошо бы в один поезд, в один вагон...

Нетелов пошел было в сторону своего дома — к Сретенским воротам, но потом повернул на Нарышкинский. Он любил этот широкий, тенистый сквер, только по краям ос-

вещенный фонарями. («Для влюбленных — лучший в Москве»,— была у него ходовая шутка). Сейчас тут стоял вечерний полумрак, не все скамейки были заняты, и он подумал о том, что хотя они с Ларисой провели чуть ли не весь день, но рано расстались: могли бы вот тут — на «лучшем» —посидеть...

Он прошелся по дорожкам, припоминая весь разговор с Ларисой. Сейчас без нее — когда его склонность к обидчивости уже ничто не сдерживало — что-то из этого разговора показалось ему более огорчительным, чем тогда, когда об этом говорилось. Кроме того, сейчас в голову пришли прекрасные, как ему представилось, доводы и возражения, и появилась досада, обычная досада ненаходчивого человека, у которого лучшие мысли приходят тогда, когда и высказать-то их уже некому.

Он вспомнил, что надо подумать о заглавном стенде выставки, и, сделав еще круг по Нарышкинскому скверу, пошел по бульварам домой, к Сретенке.

Пошел домой, чтобы кончить день совсем неожиданно для себя...

Придя и выпив чаю, он сел за стол и принялся набрасывать эскиз стенда, с которого начнется выставка. Расположив рисунок-заставку слева и наверху, он от него повел три строки крупного текста, повел, не думая, тем безликим шрифтом, который часто употребляется на плакатах. Отстранив лист, Нетелов нашел, что все хорошо. То есть все привычно, знакомо... Тут он вспомнил сегодняшнюю демонстрацию моделей и фойе зала, куда выходил покурить. Ну да, тут он увидел альдино, эрбар, елизаветинский...

Дмитрий Устинович вынул из портфеля купленный сегодня «Альбом шрифтов»; полистал его; бумажка, которую он тогда в фойе переложил, сейчас выпала. Он поднял ее и развернул.

На бумажке был нарисован карандашом план многокомнатного дома, наверху стояла надпись: «Феодосийск, Аквалянская улица, дом 39». Рассматривая план дома, Нетелов обратил внимание, что одна из угловых комнат была вычерчена более обстоятельно: показана и толщина стен, и оконные и дверные проемы, и даже нарисован кубик голландской печи. Но главное — в простенке между двумя окнами был резко начерчен тем же черным карандашом квадратик с жирным крестиком. От белых полей плана к этому крестику шла стрелка, и было понятно, что вся эта бумага

появилась на свет только ради этого — показать, где крестик, где что-то есть... Какое-то о н о...

...Все зависит от характера, и потому нет житейских событий, к которым было бы одинаковое отношение. При пожаре — одни смотрят, другие — советы подают, третьи — воду таскают, а четвертый и того пуще — бросается в огонь за несмышленым дитем. То же и при удаче. Характер мнительный не поверит ей; решительный — поскорее оседлает ее; хвастун будет таскаться по знакомым, упоенно сообщая, что именно ему привалило; расчетливый — сразу прикинет, как с этим привалившим надлежит поступить; жадный — переспросит: все ли Фортуна дала, не утаила ли?

Нетелов же Дмитрий Устинович растерялся...

Какое-то время он сидел, соображая: что это может быть? Этот крестик... Эта стрелка... Сигнал, что надо укрепить простенок между окон? Может быть, тут обнаружились осадка, перекос? Или течь, грибок завелся? Может, просто — надо выбить, убрать простенок. Но тогда тут будет какое-то тройное окно... Зачем?

И вдруг все в сторону, и память прямо — в Хрустальный переулок... Мелкий шрифт — шрифт происшествий — на последней странице газеты: «... при разборке стены здания рабочими было обнаружено углубление, в котором оказалось...» Но и после — сколько таких случаев!.. Хрустальный, может, потому сразу вспомнился, что когда-то первым на глаза попался в газете, но потом такие же находки то там, то здесь — по Москве, по городам...

... В стране начиналась большая стройка, которая не только занимала пустыри, но и теснила старые, отжившие свой век дома, особняки, лабазы. И вот тут-то из-под разобранных стен и простенков, полов и потолков стало появляться на свет божий когда-то припрятанное, замурованное. Лежало оно, ждало своих замурователей, а те, перебиваясь на чужбине, ждали времени, чтоб вернуться к своим лабазам, особнякам, и вот к этому золотому идолу, запрятанному в камень... И кто знает — может, сроки жизни подходили, или терпения не хватало, и замурователь чертил на бумаге — как завет — своему потомку или посылал этот чертежик верному человеку, находящемуся в России, который мог на месте и приглядеть за и д о л о м и — если обстоятельства позволят — добыть его...

Дмитрий Устинович так и понял этот план квартиры

в Феодосийске, найденный в «Альбоме шрифтов»... Лукавая вещь — книга! Спрятал этот верный человек от чужих глаз чертежик в книгу, да и забыл — в какую... И тут Нетелов вспомнил голубые двадцатипятирублевки — пустые, бессмысленные уже,— посыпавшиеся при нем из старого журнала... Может, и здесь тоже — вчерашняя радость! Нет, бумажные деньги в стены не закладывают, бумагу беглецу и с собой легко было бы захватить. И Нетелов, представив что там могло быть,— растерялся...

7

Поздно воротился он в смиренный
свой уголок; долго не мог заснуть...
«Пиковая дама»

За окном была летняя ночь. С пятого этажа дома, стоящего на горе неподалеку от Сретенки, было видно зарево света над улицей Горького, а чуть вправо, на крыше здания «Известий», мелькали лампочки бегущих световых строчек. И от зарева, от строчек небо в этом краю казалось беззвездным — проступали только две-три с резким блеском звезды.

Нетелов отошел от окна. Альбом шрифтов, начатый эскиз заглавного стенда валялись на диване, валялись как забытые, а на столе под светом абажура — так в театре лучом освещают главное — лежал листок с жирным черным крестиком...

Нет, это еще не было главным, ибо все казалось призрачным, путаным, недостижимым... Ну хорошо, завтра он бежит в групком за «горящей» путевкой в Феодосийск (странно: сегодня утром та, в кудряшках, уговаривала его, а он сам отказался от этой «горящей»!), но дальше что? «Горящую» или уже выдали, или сдали. Если же она еще тут и он ее получит, то надо отдать путевку в Туапсе... А Лариса? Все их планы?

Он слышал, как в коридоре зазвонил телефон. Потом ему кто-то из соседей постучал в дверь, и он пошел к телефону. Вернулся через три минуты и не мог сразу вспомнить, с кем же он говорил? Но пока ходил, говорил, ему показалось, что, пожалуй, с Ларисой как-то уладилось... Нет, не уладилось, а предположил, что вдруг может уладиться... Но все равно, все — к черту! Все — назад... Ведь по «горящей» путевке надо выезжать через два-три дня, а выстав-

ка?!.. Кто же будет заканчивать выставку? Вспомнился сегодняшний разговор с франтоватым директором о голубом бархате — занозистый, какой-то унизительный разговор — и представилось, как этот пижон цедит сквозь зубы: «Уехал? Бросил? Я же говорил вам, что это за человек! Взыскать с него все до копейки!»

И как только этот барьер оказался непреодолимым, то и первый, с Ларисой, который он не перешагнул, а только как бы отстранил, опять встал перед ним и тоже загородил дорогу в Феодосийск. И тогда пришло успокоение. Обычное малодушное успокоение: раз нельзя, то и не надо добиваться. Но было и приятное: ничего не придется менять, ничего не портить — все пойдет так, как они мечтали с Ларисой... А уж потом, когда после Туапсе вернется в Москву, подработает на выставках — осенью самая пора выставок,— тут он и съездит в Феодосийск. Легко и просто — он же постоянной службой не связан.

С этими мыслями — успокоительными и разумными — он разделся и лег спать.

Но глаза и не сомкнулись. То первое острое чувство, которое пронизало его, когда он п о н я л, что это за бумага, сейчас вдруг снова охватило его, и все успокоительное и рассудительное отлетело...

...Да, долгое время влача жизнь неудачника, совершая неразумные, а то и нелепые поступки, он из-за самолюбия всегда старался утешить себя, обелить свою жизнь, выставить ее в лучшем, чем она была, виде. Но временами перед самим собой все же признавался: это все от неприязни к чужим успехам, к тем, кто много работает, кто продвигается в жизни. От этих признаний переставали действовать те самоуспокоительные примочки, которые Дмитрий Устинович при каждой своей незадаче прикладывал к пораненному самолюбию, и тогда прожитая жизнь открывалась во всем своем неприкрашенном виде.

Неудачники были во все времена, ибо всегда рождались люди, которые или не имели ни к чему призвания, или поздно находили его; всегда рождались люди, у которых было превратно-преувеличенное представление о своих возможностях, способностях, талантах, и, наконец, всегда рождались люди, предпочитающие лень и покой — энергичной, вдохновенной ну и, конечно, беспокойной работе.

Но у этих нелюбимых детей Фортуны — какие бы при-

чины ни способствовали их появлению, всегда было одно общее, естественное в их положении состояние: они жили в полжизни, в четверть жизни, ограничивая себя и в том, и в этом. И потому неудивительно, что мечтой... нет, жаждой, страстью их было — вырваться из этого ограничения.

Но как?..

И тут каждое время показывало для этих жаждущих свои волшебные картины. Вдруг по наследству — имение, фабрика, магазин; вдруг — подряд на казну или нефть, уголь, золото на твоем участке; вдруг — безумный карточный выигрыш... В наше время — другое манящее: вдруг — высокий пост, почетная должность; вдруг — лауреат; вдруг — в газете портрет новатора — твой портрет; ну и, конечно, старое, неизбывное и все еще обольстительное — вдруг большие деньги...

С того времени, когда у Нетелова жизнь как бы наладилась и он все реже врачевался самоутешением, многое изменилось у него. Он будто нашел себя, приободрился, приосанился, ограничения, которые он вынужден был налагать на себя, хотя и теперь иногда чувствовались, но, конечно, намного сократились; не урезанная, а, пожалуй, уже полная жизнь открывалась перед ним.

Но прошлое не уходит бесследно и где-то живет подспудно. Так, в детстве, имея немало игрушек, он всегда мечтал о тяжелом, как бы литом заводном паровозе, который тащил уйму вагончиков. Тот и тащил их, но не у него в доме, а у двоюродного брата Алешки, и не он, Митя, а Алексей заводил ключиком этого чудесного железного крепыша. И что же! Уже взрослым останавливался он около витрин игрушечного магазина, находил своего красавца, стоящего на круговых рельсах, и — мысль: «Не купить ли?»

Так и тут. В незадачливые, горемычные дни жизни часто мерещились ему большие деньги, неизвестно — за что и откуда полученные. Иногда, распалясь, подыскивал и за что: вдруг пишет великолепную картину, и богатый клуб покупает ее черт знает за сколько; или вдруг изобретает новый способ нанесения рисунка на ткань — фантастически дешевый и производительный,— и опять бешеные деньги... Со временем, когда дела у Дмитрия Устиновича поправились, эти волшебные миражи стали отходить, тускнеть, но при случае — как тот паровоз на витрине — опять тянули к себе, и под напором обольщения разгорались своим колдовским светом.

8

...ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев.

«Пиковая дама»

Лег спать, но глаза не сомкнулись. Колдовский свет разгорался в ночи, и успокоительно-разумное решение — не спешить, ничего не менять, а поехать в Феодосийск потом, после возвращения в Москву — отходило, отлетало. Забытая, но, оказывается, живучая жажда обогащения проснулась и сейчас торопила. Зачем откладывать, зачем два раза ездить на юг! Надо, как решили, ехать в Туапсе, а там оставить Ларису и самому на несколько дней махнуть в Феодосийск! Вот и все! И это втройне хорошо: ничего не придется менять и с Ларисой и с домом отдыха, куда уже получена путевка; не придется бросать недоделанную выставку, и третье — главное — поскорее к этому к р е с т и к у в простенке...

Дом давно уже затих, спал. С ночной смены пришел Васюков, слышно было, как он умывался в ванной комнате — умывался, как всегда, с открытой дверью, и Нетелов представил темную от его рук воду, льющуюся в белую фаянсовую раковину. Потом и он затих. Где-то, этажом выше, пробило три часа ночи, и удивительно было, что раньше никогда не слышал этого боя часов — всегда спал в это время...

...Нет, ничего скорого не будет, если поедет сперва в Туапсе, а оттуда — в Феодосийск. Конечно, это скорее, чем после возвращения в Москву, но... Ну, конечно: в Туапсе они с Ларисой должны быть через одиннадцать дней, пока устроится в доме отдыха, пока купит билет на пароход или поезд,— раньше, чем через три-четыре дня из Туапсе в Феодосийск он не выберется... Итого — две недели. С сегодняшнего дня пройдет две недели! А там за это время... Смешно! Лежало о н о столько лет, а тут вдруг кто-то... Но ведь и в Хрустальном переулке тоже так было: лежало-лежало, а в один прекрасный день каменщики пришли ломать стену...

Наверху опять пробили часы. Нетелов нетерпеливо, досадливо перевернулся на другой бок, взбил подушку. Тело было вяло, устало — оно как бы уже спало, но голова —

свежая, ясная, будто еще и не помышляла о сне. Глаза остановились на противоположной стене, на которой уже проступили очертания книжной полки и отрывного календаря под ней. Приподняв голову, посмотрел на окно. Оно стало уже серо-голубым — где-то поднимался рассвет. Темная птица, медленно махая крыльями, пролетела близко от окна...

* * *

Проснувшись в девятом часу, он наскоро умылся, застелил постель и сел пить чай, смотря на часы. Управился до девяти и потому оставалось еще десять-пятнадцать минут до того, когда он мог позвонить в групком о «горящей» путевке — цела ли она еще?

Ужасные минуты! Распахнув дверь своей комнаты, он ходил от часов к телефону в коридоре, от телефона — к часам... Коммунальный коридор был уже в полном утреннем движении, и снование Дмитрия Устиновича туда и сюда было замечено — на него стали коситься. Он вошел в комнату, закрыл дверь и уже тут — из угла в угол...

...Нет, это был не детский паровозик, которым он не успел наиграться в свое время! Жажда обогащения, как каждая сильная страсть, охватила всего его. Картины прошлой жизни, когда он бедовал, когда зимой носил парусиновые туфли, а около витрин гастрономических магазинов ускорял шаг, когда без противной для самого себя неприязни не мог слышать о чужих удачах — сейчас эти картины прошлого теснились в памяти и благословляли сегодняшние намерения... Да — благословляли! Правда, теперь жизнь у него поправилась, пришла в норму. Но ведь раньше-то...

Это была игра с самим собой — обычное для него стремление оправдать себя, не показаться в дурном свете. Но на этот раз это было уже совсем лишнее. Из-за своих в сущности еще молодых лет, а также потому, что в стране жажда к богатству не была в ходу, не поощрялась, Нетелов не знал и хитрых, оглушительных свойств этой жажды. В отличие от обычной жажды она была неутолима: к рублю требовала рубль, к тысяче — тысячу. И потому благословить, подхлестнуть ее тем, что ты когда-то бедствовал, или сдержать ее тем, что ты достиг какого-то достаточного для тебя уровня (и больше не надо!),—было бессмысленным. Эта жажда все равно требовала еще и еще...

* * *

Пять минут десятого Нетелов позвонил в групком и узнал у женщины, выдающей путевки, что «горящая» в Феодосийский дом отдыха еще у нее на руках. Попросил никому ее не отдавать, он заедет за нею через два часа. И тут же поехал к Сердюкову — знакомому художнику-оформителю.

Время было не позднее, тот еще не ушел из дома, только завтракал.

— Святослав, я к тебе! — торопливо сказал Нетелов прямо с порога.— Выручай!..

Художник поднял от тарелки черную лохматую голову. Перед ним стоял Дмитрий в мешковатом на нем, но новом летнем костюме, на ногах — цвета яичного желтка франтоватые чехословацкие сандалеты; светлые волосы тщательно причесаны, спереди назад, и галстук бойкого цвета, и какое-то смятение на лице. Художник был смешлив и подумал: в таком виде обычно прибегают приглашать на свою свадьбу.

— Только, чур, уговор,— сказал он.— Чтоб на свадьбе не было мадеры! Это купеческое вино меня уже два раза погубило!

Но нет, не свадьба, а, оказывается, Дмитрий пришел просить взять от него начатую выставку и закончить ее. Работы не так много, и она, конечно, будет оплачена. Он знает, как неприятно доделывать за кого-то, но если бы не болезнь матери, к которой надо срочно ехать, он бы, Дмитрий, не решился...

Черный, лохматый Сердюков, не зная, согласиться или нет, проговорил как бы про себя:

— А я думал... Смотрю — разнарядился... А оказывается...

Дмитрий, ожидая ответа и желая повлиять на ответ, сказал с грустной усмешкой, что ему сейчас не до этого, что приоделся он просто потому, что в связи с отъездом ему надо зайти к одной знакомой...

— Ну, как? — не выдержав ожидания, спросил он и посмотрел так жалостливо и беспокойно, что Сердюков согласился.

И они стали уславливаться о встрече завтра в клубе, о передаче выставки.

Выйдя от художника, Нетелов бросился к остановке

автобуса, чтобы ехать на службу к Ларисе. Но передумал — нет, сперва за «горящей», чтобы она была уже в руках, в кармане.

И поехал в обратную сторону — в групком. Но день был уж такой — опять перемена! Пока сидел в автобусе, вдруг сообразил: ведь эта-то путевка в Феодосийск ему не нужна! Да, не нужна! Она его свяжет... Ведь «горящая» не в тот же дом, где простенок с крестиком!.. Надо просто приехать в Феодосийск, остановиться в гостинице и на месте оглядеться, разузнать... Но путевку в Туапсе — как он сегодня ночью решил — надо, конечно, вернуть...

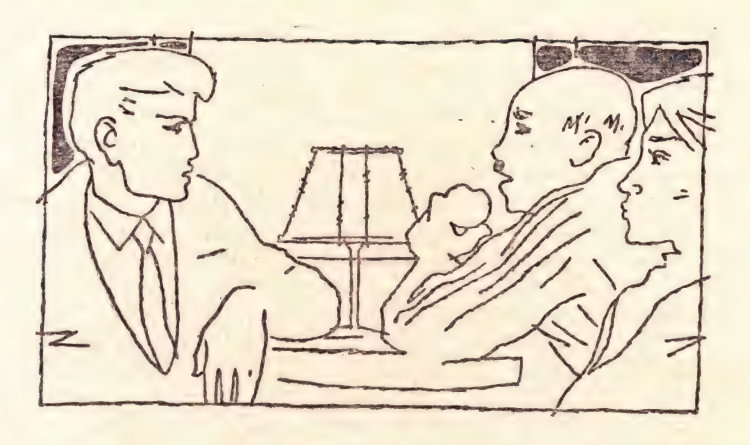
Он вышел около групкома и стал ходить возле дверей по тротуару, проверяя себя: так ли он решил — ведь сколько перемен было и за сегодняшнюю ночь, и теперь вот...

Какая-то старушка недалеко от дверей дрожащей рукой кормила голубей, и Нетелов, расхаживая, ничего не видя, вступал в середину голубиного кружка — будто тоже торопился к корму. Старушка сердито шугала его, взлетевшие голуби, треща крыльями, обдували лицо, он отступал, но снова появлялся тут...

...Нет, все будто правильно: «горящую» не брать, Туапсе сдать и получить обратно деньги. Да, сдать, так как не знает, сколько времени придется ему пробыть в Феодосийске... После групкома поехать к Ларисе и все объяснить. Да, конечно, тоже болезнь матери... Как освободится, он приедет к Ларисе в Туапсе. Если на месте не достанет путевки, то возьмет курсовку в тот дом, где будет она... Нет, все правильно...

Так и сделал. Но все же и еще была одна перемена. После групкома не поехал на службу к Ларисе — не хватило духу говорить ей о болезни матери. Лучше, не видя ее, это же сказать по телефону... И, войдя в тесную автоматную будку, в темном стекле увидя свое отражение, подумал о том, что зря вот одевался для Ларисы...

Через день он уже ехал в Феодосийск.



ГЛАВА ВТОРАЯ

Я не стану воздавать хвалу боязливо таящейся добродетели, ничем себя не проявляющей и не подающей признаков жизни; добродетели, которая никогда не делает вылазок, чтобы встретиться лицом к лицу с противником, и которая постыдно бежит от состязания, когда лавровый венок завоевывается среди зноя и пыли...

Джон Мильтон «Ареопагитика»

1

Проснулся среди ночи от духоты. Вентилятор под потолком вагона, который он вчера сразу после посадки пытался раскрутить, так и остался завинченным, а дверь купе кто-то из пассажиров задвинул наглухо. Поднялся, приоткрыл дверь купе до предохранительной щеколды и, когда лег на свою нижнюю полку, почувствовал, как по полу заструился из коридора прохладный воздух...

Повернулся на спину. Под потолком еще горела голубая лампочка, но из окна уже шел серый свет недалекого утра.

Вспомнил — куда и зачем едет, представил мысленно тот дом. В недавней спешке, в суматохе он тоже его

представлял, но как-то бледно, отвлеченно — какой-то заброшенный дом... Лучше виделись стены, простенки, окна — то, что на плане. Там было написано «Первый этаж». И дом почему-то представлялся одноэтажным... Глупо как! Но сейчас понял: дом не одноэтажный, если на бумаге стоит эта пометка... Да даже не это! Такой дом почему-то виделся где-то на отшибе — пустым, покинутым... Ну да — желаемое казалось существующим. А на самом деле! Это мог быть обычный жилой дом на оживленной улице или учреждение...

И понял: едет зря! Все зря...

Эти стены, окна, простенки, двери, что были на плане пустыми, нарисованными, вдруг наполнились жизнью: на окнах стояли горшки с геранью, на стене тикали часы, висели увеличенные портреты, зеркало... И люди... Да, открывает дверь, входит, а его спрашивают: «Вам кого? Вам чего?» Были приготовлены слова, но не к этому, а к тому, желаемому, выдуманному дому, который представлялся в Москве. Какой-то сторож или какая-то старуха, встречают его тут на опустелом крыльце, и он ей: «В детстве, знаете ли, я когда-то жил здесь... Хочется, бабушка, посмотреть, вспомнить...»

«Господи! Как глупо! Откуда у нас заброшенные дома!»

Ну, хорошо — не жилой дом, а учреждение. И тоже — мимо: до пяти — работа, потом все на замок! Ну, можно прийти посетителем в ту комнату, посмотреть издали на тот простенок, но дальше-то что?..

Дмитрий Устинович приподнимается на локте и смотрит в окно. В сером предрассвете бегут по насыпи темные шары кустов с трепещущими ветками — там ветер, которого тут, в тихом, сонном купе, и не слышно.

И опять — на голубой свет под потолком.

«Зря еду!..»

Или, что же, придется с кем-то сговариваться, кому-то открывать то, о чем пока только он один знает. Но это... Это — прямо из газетной страшной строчки: «...вошел в сговор с...» Нет, домоуправу или коменданту того здания надо будет сказать что-то безобидное, простое...

И он начинает подбирать это безобидное и простое...

А поезд, обдуваемый предутренним ветром, мчится по накатанным рельсам, везя спящих людей, сейчас одинаково безгласных,— спит добрый и злой, умный и глупый, великодушный и мелкий, смелый и робкий — одинаковые

до утра, до начала нового дня их жизни... Не спит только машинист. Слева от него заалело небо, и у узкого, как челн, облака — до этого синего — зарумянился борт; справа же, на горизонте, загорелась верхушка колокольни, потом — верхняя кайма далекого леса; небо стало быстро светлеть, и вот лучи солнца достигли уже последнего, самого низкого: заблестели впереди рельсы, заблестели длинно и нескончаемо — от паровоза до горизонта — и так быстро, сразу, словно их каким-то волшебством только что уложили на землю.

К этому предутреннему мигу Нетелов, так ничего и не решив, уже спал.

2

Опыт жизни приходит к человеку постоянно, непрерывно, заметными и незаметными путями. От огня свечи, к которому тянется рука ребенка и, обжегшись, больше никогда не повторяет этого, до случайных, мимоходных разговоров, которые тоже что-то приносят... Ну что, кажется, прибавится от чужого мнения, которого ты не спрашивал; от чужих споров, в которых ты не принимал участия! Но нет, даже и это падает в копилку жизненного опыта.

До Харькова пассажиры купе менялись, кроме пожилого дородного мужчины, который тоже ехал в Феодосийск. Может быть, прочитав где, что «отдых начинается с вагона» или привыкнув так именно проводить время в пути,— все время или спал, или сидел в вагоне-ресторане. Когда он спал, на его большом полном лице было какое-то детское, добродушное выражение, и Нетелов, вспоминая свой суматошный, внезапный отъезд, думал: «А вот у этого тишь да гладь!»... И был рад такому соседу.

Но после Харькова все изменилось. В купе сел молодой, лет двадцати семи человек в стандартно модном и дешевом коротком плащике, с зачесанными у висков длинными волосами так, что наверху головы получался как бы гребень. Голос у него был невнятно бубнящий, который встречается и у чванливых, и у застенчивых людей.

Он выглядел лет на пять моложе Нетелова, и по внешнему виду Нетелов причислил его к общеизвестной бледнолицей бездельной братии. Но по тому, как тот умело расположил свои вещи; как ловко открыл на потолке вагона вентилятор, который до него не могли открыть; как аккуратно расстелил постель на верхней полке и, попросив

разрешения, сел на нижней,— Нетелов подумал, что та братия, видимо, неодинаковая, и этот пассажир из какой-то новой их формации. И глаза вон другие — какие-то всматривающиеся...

— Этот товарищ спит, как ангел! — бубнящим голосом, но негромко сказал новый пассажир, кивнув на противоположную нижнюю полку.— Улыбается во сне.

— Да, он все время спит,— чтобы поддержать разговор и тоже негромко отозвался Нетелов.

— Как Теркин, в запас...

Но тут спящий пошевелился, и новый пассажир, вынув папиросу и взяв книгу, которую он ранее выложил из чемодана, вышел в коридор.

К вечеру стало известно, что нового зовут Чечелев Сергей, что он студент третьего курса педагогического института и что едет до Джанкоя. Больше того, стало известно и имя того байбака, который от Москвы только спал и ел,— Арсений Тихонович. Все это узналось потому, что этим двум лицам пришлось втянуться в длительный разговор. И из-за пустяка: не горела настольная лампа.

Она не горела в соседнем купе, и Чечелев, похаживая по коридору, заметил это. Собственно, не лампочку, а остроносую старушку в темно-лиловом халатике, которая со своей книгой тянулась к тусклому свету под вагонным потолком. Чуть привстав, она держала книгу, как поднос, подставляя ее под верхний свет. Но иногда вместе с хилым светом падала на страницу ее книги и сонная рука пассажира, лежащего на верхней полке. Шевеля пальцами, рука эта как бы показывала старушке, что именно на этой странице самое интересное...

Чечелев догадался, что настольный свет не горит, и предложил старушке наладить его. Шнур и розетка были в исправности, но лампочка перегорела. Он обратился к проводнику — тот сказал, что «каким вагон принят — таким он и едет, никто не жаловался». Чечелев, громко бубня, потребовал достать для четвертого купе новую лампочку. Проводник ответил: «Сейчас у меня станция с заливкой воды, а капризами потом займусь...» Но и после станции он не принес лампочку. Чечелев отправился к начальнику поезда, и тот пришел сам с новой лампочкой и, видимо, уже отчитанный настойчивым студентом, сам хотел ее ввинтить, но Чечелев остановил его:

— Простите, товарищ начальник, не будем поощрять

недотеп и лентяев! Каждый должен делать свое дело, и делать его хорошо... Товарищ проводник, пойдите сюда! Вот лампочка. Ввинтите ее...

И странное дело! Большой усатый человек тотчас подошел и тотчас, хотя и ворча под нос, сделал то, что сказал ему молодой неотвязный хлопотун.

Лампочка на трехугольном столике загорелась, остроносая старушка, давно испытывавшая смущение, что, помимо ее желания, она причинила столько хлопот, теперь наконец-то опустилась со своей книгой на нижнюю полку, к столику и, поправляя темно-лиловый халатик, улыбаясь, кивая, поблагодарила своего благодетеля. Но тот отнесся к этому неожиданно сурово.

— Вы меня простите,— сказал он,— я не смею вас учить... Но почему вы такая... ну, такая тихая, нетребовательная! Едете от Москвы без лампочки, портите глаза и молчите!..

3

Когда Чечелев и Нетелов, который молча наблюдал всю эту сцену, вернулись к себе в купе, их грузный пассажир с нижней полки находился в необычном состоянии: не спал и не ел. Сидя у окна, в изголовье своей смятой постели, он, усмехаясь, смотрел на входящего Чечелева.

— Узнаю молодых петушков! Такой шум в коридоре подняли, что я даже проснулся,— сказал он.

— Это вам показалось,— пробубнил Чечелев.— Шума, по-моему, не было... Просто вам пришла пора проснуться.

— Я все слышал.

— Очень приятно... Тут секретов не говорили.

Задетый его тоном, мужчина продолжал усмехаться, но уже со снисходительным видом.

— Глупо это все, молодой человек!..

— Моя фамилия Чечелев, зовут Сергей...— Он подошел к своей верхней полке, из-под подушки вынул листок с расписанием поездов.

— Ну, глупо это все, Чечелев Сергей!

Взглянув на расписание, молодой пассажир положил его обратно, обернулся к зеркалу и двумя руками пригладил волосы у висков. Не спеша сел на нижнюю лавочку и, бубня, спросил у собеседника его имя и отчество. Ответив, тот полез в вагонную сетку за яблоком — совсем не есть он, видимо, все же не мог.

— Так что же именно глупо, Арсений Тихонович? — помедлив, с подчеркнутой вежливостью спросил Чечелев.

— По-моему, всякий пересол. Когда говорят, «не проходите мимо»,— Арсений Тихонович назидательно постукивал откусанным яблоком по столику,— это значит, не проходите мимо чего-то существенного, в которое надо вмешаться. Но если завинчивать все незавинченные шурупы, менять все перегоревшие лампочки и каждую старуху переводить через дорогу, то это, товарищ Чечелев, уже чепуха! Чересчур! Пересол!..

Чечелев стряхнул со своих дешевых студенческих, но модных брюк какую-то пушинку.

— Но вы, надеюсь,— спросил он, поднимая голову,— не против вообще завинчивания шурупов, новых лампочек и переведения через дорогу старух? Не против? Значит, весь вопрос: кто это должен делать? Вы правы, что делать это одному человеку трудно, это чересчур... Но если поделить это дело, ну, например, пополам с вами — то уже хорошо! Уже вдвое легче! А если с сотней, с тысячей, с миллионом людей! Тогда, вероятно, на каждого, «не проходящего мимо» придется всего один шуруп, одна лампочка и одна старуха в год. В год! Это, по-моему, не так много... Неправда ли? Не чересчур? Не пересол?.. Это, по-моему, даже вы осилили бы!..

Арсений Тихонович добродушно усмехнулся.

— Почему «даже»? — полной рукой он запихал в неудобную вагонную пепельницу огрызок яблока.— Я — директор одного небольшого заводика, и мне по бытовой линии приходится много этих шурупов завинчивать. Не один в год! Нет, нет, не один!.. И выискивать, высматривать их по чужим купе мне не надо. Не требуется! Шурупы сами идут, сами просятся... Приходят вот такие молодые,— откинувшись на подушку, лежавшую за его спиной, Арсений Тихонович кивнул на сидящих против него Чечелева и Нетелова,— и объявляют, что женились, что комнатку им надо бы...

— Вы обещаете и не даете? — быстро, чувствуя себя задетым, проговорил Чечелев.

— Обещаю и даю.

— Это похвально... Но, к сожалению, к нашему разговору это не имеет никакого отношения! Предоставлять жилье рабочим входит в ваши служебные обязанности. Вот почему «шурупы» сами к вам приходят...— Чечелев не

без притворства сделал внимательное лицо.— Интересно было бы, уважаемый Арсений Тихонович, послушать о тех «не проходящих мимо» случаях, которые происходят у вас, так сказать, во внеслужебное время.

Арсений Тихонович подмигнул Нетелову:

— Вы слышите? Похлопотал человек о какой-то лампочке и уже возомнил, уже нас допрашивает: «А вы? А вы?»

Нетелову, который все время следил за разговором, но молчал, тут пришлось тоже что-то сказать.

— Когда у нас говорят «не проходите мимо» — начал он,— то это обычно бывает о драке... Когда трое на одного напали...

По тому, как его слушали, Нетелов понял, что он говорит что-то не то. Но он все же докончил свою мысль.

— ...Но кому охота в чужую драку ввязываться! Да еще безоружному... Тут, по-моему, и винить нельзя, если...

— Не об этом! — Чечелев, поморщившись, махнул рукой. — Этому «не проходите мимо» тысяча лет! Во все времена случалось, что трое негодяев нападали на одного, и испокон веков стыдили тогда трусов, которые были рядом и не заступились. В одном старом журнале, я помню, карикатуру видел. «Что? Режут? Побежим, Ванька, домой, а то в свидетели попадем!..» Так не об этом речь! Не это «не проходите»! А новое, хозяйское «не проходите»!..

И Чечелев, разойдясь, видимо напав на давно продуманное, стал горячо говорить о том, что сегодняшних наших сограждан можно разделить на две части: на хозяев жизни и на присутствующих в жизни. И те и другие честно, старательно работают в этой жизни, но одни отвечают и за работу, и за жизнь, вторые — только за свою работу. Это совсем разные люди! Хозяин до всего доходит, он влезает во всякие «не свои», во всякие «чужие» дела: почему это сделали так, а не этак; почему помирились на плохом, когда надо требовать хорошее; почему тут поставили дурака, когда умных много!.. Такому хозяину легче вмешаться в чье-то головотяпство, в чью-то несправедливость, в нечестность (которые лично его даже не побеспокоили), чем не вмешаться в них. Ему спокойней будет на душе, если он заступится за народное добро, за народные интересы, чем пройдет мимо...

Присутствующий же тоже все видит, все знает, но ни во что не вмешивается. И радости, и горести у него

только свои, о своем... И получается, что жизнь отпускает ему, словно сирой богаделке, какую-то долю, какую-то порцию благ, и она, богаделка, только за этим подаянием и должна присматривать. А что чужое, людское — разбирайтесь сами. «Да, это вор, но у меня он, славу богу, ничего еще не украл. Да, это дубина, но «дрова наломал» он не у меня... Да, это несправедливо, но он-то — жертва несправедливости — мне не брат и не сват...» И вот, присутствующий — присутствующий в жизни,— честно работая, честно получая свои деньги, честно живя, в сущности, представляет собой что-то тихо-нечестное...

— В известном вам кодексе ничего не сказано о «хозяине жизни»...— Чечелев теперь говорил стоя, опираясь поднятыми локтями на две верхние полки.— Верно, не сказано, но ведь все проникнуто им! Вспомните! О нетерпимости ко всяким дядям, нарушающим народные интересы. Или о непримиримом отношении к несправедливости и нечестности! Или вот возьмите — забота об общественном добре... И так далее. Нетерпимость! Непримиримость! Забота! Разве это говорится не о «хозяине жизни»?

4

В окнах вагона проносились длинные огни станций, которые скорый поезд пролетал мимо. Арсений Тихонович пристально, будто что-то выискивая, посмотрел на них. Ему, старшему по возрасту, надо было — как казалось Арсению Тихоновичу — возразить на услышанное.

— Но вы,— он отвернул свое полное лицо от окна и, взглянув на Чечелева, кивнул на соседнее купе,— вы даже вот старушку обвинили, что она не по-хозяйски поступила! Уж очень она, по-вашему, тихая... Ей бы кулаком стучать, требовать себе лампочку... Я к тому говорю, что ваше деление людей на «хозяев» и «присутствующих» довольно произвольно, случайно... во всяком случае, я нигде об этом не слыхал и не читал...

— Я вас понимаю!.. Если бы это вы прочли, то все встало бы, так сказать, на свое место.

Хотя Чечелев произнес это и скороговоркой и негромко, Арсений Тихонович не пропустил мимо ушей.

— А я вот, наоборот, вас не понимаю! — сердито сказал он, окончательно отворачиваясь от окна и поудобнее усаживаясь.— Не понимаю, почему вы хотите представить меня

в таком... ну да, в таком свете! От этого, поверьте, изобретенные вами категории людей не будут более реальными! И зачем изобретать новые, когда всегда были люди брюзжащие, привередливые! То им не так, и это не этак! И также всегда существовали люди скромные, сдержанные, которые, если надо, переносили всякие невзгоды и недостачи и не делали из этого события!..

Нетелов, как человек, не привыкший к спорам и раздумьям, был сейчас словно простодушный посетитель суда: прокурор говорит — верно, адвокат говорит — тоже все справедливо... Но все же он склонялся больше к Чечелеву, но не потому, что слова его были более убедительны (они были для него новы, а он не сразу постигал новое), а потому, что этот спавший-евший байбак, начавший с ним путь от Москвы, как-то мало обращал на него, Нетелова, внимания, а сейчас вот, говоря с Чечелевым благосклонно-поучительным, как ему казалось, тоном, как бы распространял этот тон и на него... И Нетелов поднял на Чечелева, как на союзника, ожидающий взгляд. Лицо Чечелева удивило его сейчас — оно как бы остановилось в гневе... Да, в гневе: сжатые, побледневшие губы, блеск в глазах... Не спуская взгляда с Арсения Тихоновича, Чечелев, стоявший до этого в проходе купе, бесшумно и даже как-то вкрадчиво опустился на нижнюю полку рядом с Нетеловым.

— Ах вот, оказывается, кто мил вашему сердцу! — тихо, с притворной ласковостью в голосе, произнес он.— Только зачем же, уважаемый Арсений Тихонович, вы их так странно величаете: «Скромные, сдержанные»! В народе их зовут «фефелами»! Эта публика тоже относится к присутствующим, но уже к совсем печальной категории. Они не только за народные интересы не стоят, но и за свои собственные голоса подать не могут!.. Это те самые неприхотливые, непритязательные недотепы, которым что ни дай — все возьмут, да еще спасибо скажут! — в голосе Чечелева уже не было никакой ласковости, он громко и сердито бубнил: — При мне в одной дурацкой столовой такому тихоне дали чай в глубокой тарелке... И его соседу — тоже в глубокой. Так этот сосед с этой тарелкой такой разгон, такую баню буфетчице устроил, что любо-дорого было смотреть. Да-да! А вот ваша фефела ...— Чечелёв, зло блестя глазами, пристукнул по столику.— Да, а ваша фефела покорно попивал чаек из тарелки, да еще, божья коровка, приговаривал: «Может, трудности со стака-

нами! Надо тоже входить в положение... Да и так рассудить: из чего ни пить, лишь бы пить. Мы люди неприхотливые, мы университетов и консерваториев не кончали...»

Дверь в купе откатилась, и круглолицая женщина в белом переднике с корзиной в руках пропела с порога:

— Свежие пирожки-и, бутерброды, бу-улочки-и...

Чечелев, вздрогнув, обернулся и, не понимая, уставился на вошедшую:

— Чего? Что?

Женщина опять было запела, но он замотал головой и снова — к Арсению Тихоновичу. Но тот, еще ранее пытавшийся что-то возразить, тут воспользовался паузой.

— Вас, товарищ Сережа Чечелев, занесло! — сказал он, усмехаясь как-то одновременно и снисходительно и возмущенно.— По молодому недомыслию занесло. Вы выставляли и ругали каких-то выдуманных вами «присутствующих в жизни», а я говорил, что людей, которые не охают и не ахают над каждой недоделкой в жизни, надо ценить. Вы же ничего умнее не придумали, как опорочить, окарикатурить таких людей! Изображаете их какими-то безгласными божьими коровками, стараетесь их всячески...

— Прелестно сказано: «Надо ценить таких людей!» — перебил Чечелев. Его все время злил тон превосходства у собеседника, и хотелось сбить этот тон. Наудачу он вспомнил сегодняшнюю газету.— А почему, собственно, ценить их? — переспросил он.— Отвечу за вас, Арсений Тихонович: а потому, что с фефелами, которые довольствуются малым, легко жить... Вот, пожалуйста! — согнув руку, он вытащил из кармана газету.— Вот посмотрите... Написано будто правильно, но ведь не с того конца! Приехал, видите ли, корреспондент на полевой стан совхоза и заметил, что трактористы в своих вагончиках живут в полном смысле по-свински! Без простынь, без наволочек, без мыла, без газеты, без радио... И не день, не два, а несколько месяцев. Кого же корреспондент ругает? Ну, конечно, директора совхоза. Это так принято... И что же — это правильно! Больше того, если бы я был на месте корреспондента, я бы даже потребовал, чтобы означенного директора публично на площади высекли... Неважно, что такое бы не напечатали, но я бы, все равно, предложил этот древний, но отлично зарекомендовавший себя способ...

— Я слышал, что газетных корреспондентов выбирают осмотрительно,— кротко заметил Арсений Тихонович.

— Да-да, возможно...— пропустив реплику, продолжал Чечелев.— Но вот что любопытно! Корреспонденту и в голову не пришло, что этих беспростынных, безнаволочных, безмыльных, безгазетных трактористов тоже не надо было по головке гладить! Этих голубчиков тоже надо было взгреть! Это они, фефелы, породили такого директора! Есть комсомольские, партийные организации, есть печать. Чего они молчали? Если быть хозяином жизни, то перед кем робеть? Кого и чего бояться?

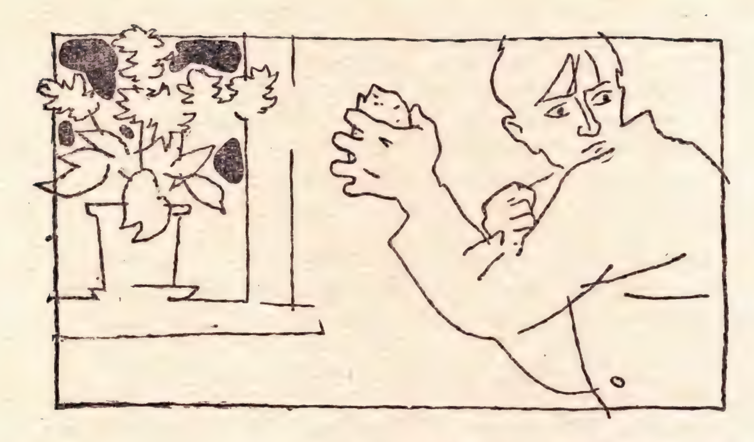
Нетелов неожиданно для себя вставил:

— Я помню по газетам, что когда люди отправились на целину, то они все писали в своих заявлениях: «Трудностей не боюсь».

Чечелев обернулся к Нетелову и какое-то время смотрел на него, не понимая главного сейчас для себя — куда клонит этот человек: за или против? Но тут же увидел, что из этого можно сделать «за». Двумя руками он откинул и пригладил около ушей свои длинные волосы, отчего лицо как бы выдвинулось вперед, вперед — в спор.

— Вот-вот! И это помогает головотяпам и лентяям спокойно жить с фефелами. Писали, что «трудностей не боитесь»? Писали. Прекрасно! Ну и живите на целине, как Адам и Ева в раю: без штанов, и одно яблоко на двоих! И хотя на складе есть и штаны, и яблоки, и рукавицы, и простыни, да ведь их выписывать надо! Да ведь их доставлять надо! Да ведь в них потом отчитываться надо! А неохота... Проживут и так — не сахарные! Энтузиазм, он, знаете ли, все переборет, все преодолеет...— Чечелев передохнул, обвел взглядом слушателей.— Я бы этих самых спекулирующих на энтузиазме...

— Не продолжайте! Я уже догадываюсь, что судя по вашему крутому нраву, этим людям не поздоровилось бы...— Арсений Тихонович посмотрел в окно, мимо которого в резком свете вокзальных фонарей медленно двигались пакгаузы, бетонные заборы.— Подъезжаем к станции, надо пойти перекусить,— он посмотрел на часы.— Из-за нашего разговора я опоздал в вагон-ресторан.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Приехав в Феодосийск, Нетелов оставил вещи в камере хранения и отправился в гостиницу. В Москве это представлялось простым: нашел пристанище и пошел искать т о т дом. Но оказалось, что к этому месяцу уже наехало к морю немало курортников; кроме того, в городе шло какое-то совещание, и мест в гостиницах не было.

Стоя в вестибюле гостиницы, которая была уже последней, он заметил пожилую женщину со шваброй, выжидательно поглядывающую на него.

— Вам, милый, небось голову некуда склонить? — спросила она подходя.

— Да, вот...

— Так попробуйте к Олегу Алексеевичу.

И она рассказала о каком-то молодом человеке, который принимает постояльцев, если ненадолго. Выйдя со шваброй за дверь на улицу, она показала, как идти, куда повернуть...

В городе было много белых зданий, море то виднелось, то чувствовалось, и Нетелову показалось, что санаториев и домов отдыха тут, в приморском городе, много — может быть, даже все эти белые здания. Это вернуло его к вагонному раздумью: а что, если и т а м тоже дом отдыха или

санаторий? Купить на неделю туда путевку... И он представил, как все пошли к морю или на экскурсию в горы, а он один в той комнате. Да, один, но вдруг входит Чечелев... Зачем? Причем тут Чечелев?..

...Дверь открыла белесая полная девушка в ситцевом платье и словоохотливо объяснила, что Алексей Феоктистович и его жена по профессии геологи и сейчас в отъезде, но их сын Олег скоро придет, и он может устроить с приютом.

Говорила девушка вежливо, приветливо, но Нетелов почувствовал, что она не одобряет ни этого сына, ни этих ночевок.

— Посидите вот здесь! — она показала на стул в коридоре и, отворив дверь направо, скрылась.

Из-за двери слышен был ее голос и другой — спокойный, добродушный — мужской. Вскоре из этой комнаты вышел рослый, лет тридцати человек в летнем костюме голубоватого цвета. В руках у него была большая, испещренная пятнами акварельной краски тарелка. Он, видимо, шел в кухню мыть ее. Когда он стал удаляться, Нетелов заметил на его голубоватом пиджаке на середине спины темную, с коричневыми подпалинами, дырку. Это было и забавно, и жалко,— хороший был пиджак!

С вымытой тарелкой, с которой капала вода, он вернулся, и теперь Нетелов увидел его чернобровое загорелое лицо. Заметив человека, сидящего в коридоре на стуле, этот, с тарелкой, кивнул ему и скрылся за дверью.

Нетелов продолжал ждать, не зная, как занять себя. Вспомнил про местную газету, купленную при переходе из гостиницы в гостиницу. На четвертой странице в объявлении попалась на глаза Аквалянская улица, и Дмитрий Устинович досадливо вздохнул — когда же, наконец, с пристанищем будет решено и можно пойти т у д а... Да, пойти, но что найти? Если даже это санаторий или дом отдыха, то надо показывать паспорт, а это значит: кто был, кто внезапно уехал — все ясно... И все же не бросить, не отступить — надо пытаться, надо все испробовать. Вагонное «зря еду» уже прошло — к р е с т и к, возникший в Москве, опять осветился колдовским светом...

Поерзав на стуле, он поднялся, подошел к двери комнаты, куда недавно ушел человек с тарелкой, и постучал. Оттуда ответили «пожалуйста», и Нетелов, войдя и извинившись, спросил: скоро ли, все-таки, их сосед придет?

— Он человек очень пунктуальный,— отозвалась полная девушка, и опять в ее словах было неодобрение.— Между морем и обедом он обязательно приходит домой. Скоро появится.

Нетелов хотел было уже уйти, но на обеденном, стоящем посреди комнаты столе заметил родное для себя: разложенный лист ватмана, поллитровую банку с замутненной водой, акварельные краски, выдавленные на тарелку. И этот в прожженном пиджаке — над ватманом. Невольно спросил:

— Что это у вас?

— Не своим делом занялся! — добродушно отозвался чернобровый, звонко полоща кисточку в банке с водой.— Когда-то в десятилетке получал я пятерки по рисованию, и вот вспомнили это на мою голову! Заставили...

Так как ждать в коридоре одному было тоскливее, чем тут, Нетелов задержался у порога, спросил: что же именно этот пятерочник делает? Тот ответил запросто: «Да вот гляньте!» — и Дмитрий Устинович подошел к листу ватмана. На нем сверху было написано «Левая стена», а прямоугольник, который изображал эту стену, был от потолка до полу заполнен забавными рисунками, изображавшими спортсменов-неудачников: пловец, пускающий пузыри; лыжник, хватающийся за елку; биллиардист, проткнувший, как яблоко, шар...

— Не ахти что, конечно! — вздохнув, сказал бывший пятерочник.— Но в молодежном кафе вешать серьезные картины тоже нельзя... «Стрелецкую казнь», например, или там «Иван Грозный с сыном»... Впрочем, не ручаюсь.

И он рассказал, что ему поручили сделать эскиз одной стены, а остальные три делают — нарочно не сговариваясь между собой — другие доброхоты.

— Но ведь может получиться чепуха! Разнобой! — проговорил Нетелов.— И в смысле общего замысла и красочной гаммы... Если каждый отдельно-то!

— Ну вот и хорошо, что чепуха. Уж больно у нас серьезного в жизни много... Впрочем, что бы ни получилось, это только на месяц. Оформление мы решили менять, чтобы не надоедало. Благо руки-то даровые...

«Да, возможно, что и даровые,— подумал Дмитрий Устинович,— но не очень умелые».

— Вот тут у вашего штангиста ноги не человеческие! — Нетелов, чувствуя, что этот художник не обидит-

ся, взял карандаш и стал поправлять.— А вот тут у лыжника я бы сделал рядом овраг,— он не поправил, а только показал.— Тогда понятнее было бы, почему он за елку хватается...

— Верно, верно! Клава, смотри! — обратился чернобровый к толстой девушке, которая выходила из комнаты и сейчас вернулась.— Объявился настоящий художник, не то, что я!..

Это получилось как бы приглашением к знакомству. Оказывается, это были молодожены, его звали Виктором, ее — Клавой, работали они оба в заводской лаборатории.

— Вот вам и доказательство! — с горькой усмешкой Клава кивнула на спину мужа.— Какой был хороший костюм!

И она рассказала, как позавчера в лаборатории разлился по столу и вспыхнул спирт, и Виктор ничего умнее не придумал, как сбросить пиджак и накрыть им стол.

— Но если ничего другого под рукой не было,— Виктор не торопясь подрисовывал к своему лыжнику овраг.— Если не считать твоей и Марии Захаровны юбок. Но с ними была бы возня... А потом...— он отбросил карандаш, выпрямился и, картинно выставив грудь, обратился к Нетелову: — А потом вы, конечно, знаете, что герой по всем правилам должен действовать самоотверженно, ничего не жалеть... Если б я потушил пожар казенным халатом, которые, кстати, были в стирке, то в нашей стенгазете ни строчки об этом не написали бы. А тут прямо песнопение напечатали: «Товарищ Павлущенко,— монотонно, как по писанному, проговорил он,— пренебрегая опасностью, бросился к огню, сорвал с себя свой собственный пиджак...» И так далее... Главное,— Виктор поднял палец,— «свой собственный»!

— Пускай даже свой собственный,— сказала толстенькая Клава, видимо, не понимая тона мужа.— А зачем он этим пиджаком и горелку еще прикрыл... Это ведь не спирт, а раскаленная горелка прожгла ему пиджак... Теперь, кроме дома, в нем никуда не покажешься.

— Ну почему же... Скоро у нас в парке будет маскарад-карнавал. Как раз костюм не готовить.— Виктор одной рукой обнял жену.— Не хнычь, пожалуйста, починят — не заметишь! — он снова склонился над листом ватмана.— А потом все знают, как возникают моды. Стоит одному чудаку появиться в чем-то необычном, как все

начинают ему подражать... Если я раза три пройдусь в этом пиджаке по городу, то на четвертый день у многих пиджачные спины будут с дырками... Ну, конечно, не грубо, как у меня, прожженные, а изящно вырезанные дырки с пуговками вокруг или с каким-нибудь кантиком... Может, даже с кружевцами...

В коридоре послышался шум, и Клава сказала, что их сосед пришел.

2

Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома.

«Пиковая дама»

...У коммунальных квартир не было бы печальной славы, никто бы не рисовал на них карикатур и желание их покинуть, пожалуй, не было бы таким бесповоротным, если бы квартиры заселялись не как попало, а сообразно времяпрепровождению жильцов во второй половине дня. Да, в той половине дня, когда люди, вернувшиеся с работы, входят в соприкосновение с другими, тоже вернувшимися с работы, и когда они тут же, незамедлительно, обнаруживают — причину всех причин — разнобой вкусов, привычек, желаний. В самом деле: насколько все стало бы иначе, если бы в одной квартире жили только люди, проводящие свой досуг за домино и картами; во второй — за вкушением горячительных напитков; в третьей — за чтением и театром; в четвертой — за обозреванием мух на потолке и галок в небе; в пятой — за шахматами; в шестой — за воспитанием и игрой с детьми; в седьмой... Да мало ли видов домашних досужих занятий, которые могли бы объединить и даже сдружить обитателей одной и той же квартиры.

Так или примерно так сказал Виктор Дмитрию Устиновичу утром на следующий день их знакомства, когда разговор зашел о соседе по квартире — Олеге Алексеевиче, у которого Нетелов нашел приют.

А сейчас пока что Дмитрий Устинович стоял перед худощавым, бледнолицым молодым человеком с карими внимательными глазами, на которых поблескивали очки

с половинками стекол. Эти половинки придавали ему какой-то серьезный, профессорский вид, который не шел к его молодому, хотя и бледному, лицу.

— Ну что же,— говорил Олег Алексеевич со сдержанным, значительным видом,— я готов сдать вам место в комнате... Именно место, а не комнату, ибо в комнате четыре кровати, и могут найтись еще желающие. Сейчас кто был, уехали, и пока в вашем распоряжении будет вся комната,— он сделал паузу.— Оплата по новым деньгам, как обычно, рубль в сутки. Деньги, если разрешите, за неделю вперед.

— Я предполагаю пробыть в городе дня три-четыре.

За строгими стеклами промелькнуло что-то — видимо, великодушие.

— Ну хорошо, тогда за три дня вперед.

* * *

Итак, с пристанищем было покончено, чемодан из камеры хранения можно захватить на обратной дороге, а сейчас туда — на Аквалянскую.

...Наконец-то Нетелов остался со своими мыслями и планами наедине. Дорога с Чечелевым и Арсением Тихоновичем, поиски гостиницы, молодожены со своим пиджаком, а потом важный квартирохозяин — все это как-то перебивало, отвлекало от того, с чем он ехал сюда...

Белые улицы, белые переулки — город был плотно уставлен белыми зданиями, за которыми в отдалении возвышались горы, а слева, подступая к белым домам, плескались тихие волны залива — шли и шли перед глазами Нетелова, пока вдруг не остановились: вот он!

Все как на бумаге, найденной в альбоме шрифтов: улица, номер дома, семь окон по фасаду первого этажа... Бумага та лежала в кармане, но вынимать ее не надо было — все помнил. Вот и простенок в угловой комнате, где стоит тот крестик... Перешел на ту сторону улицы и на расстоянии проверил соотношение ширины простенков и окон. Нет, дом тот же, не новый и не перестроенный... Влево от дома шел какой-то сад с высокими тополями, отгороженный от улицы новым, из некрашеных досок, забором. Взглянув отсюда еще раз на дом, Нетелов заметил на нем небольшую вывеску рядом со входом и опять перешел улицу.

Но как перешел! Кто его научил так?.. Не по прямой, как короче, а сперва постоял у афишной витрины, потом не спеша двинулся вперед, а уж затем — на ту сторону — к садовому забору и вдоль его — обратно к дому. Нет, никто не научил, но он представил себя на месте какого-нибудь прохожего или человека, случайно смотрящего из окон того дома: почему этот гражданин ходит туда-сюда?

Подойдя к садовому забору из некрашеных досок, Дмитрий Устинович увидел, что это, собственно, не забор, а строительная ограда, вынесенная на тротуар,— за нею в саду будет что-то строиться...

...Ах, этот сад, мимо которого он прошел! Кто знал, как он пригодится! Бывают не только люди, но и явления, и вещи, которые не задерживают нашего внимания, мы проходим мимо них, но потом наступает какой-то миг, и они — случайные, незамеченные ранее — вдруг что-то делают для нас...

У входа в дом висели две вывески: одна стеклянная — золотом по черному — относящаяся к техникуму, и другая — картонная, временная, на которой чернилами было написано: «Курсы по подготовке в вузы».

И сразу услужливая память — тоже знает, что подать! — такие же курсы в Москве на Басманной... Таскался, помнится, на них четыре месяца, но приемных испытаний в вуз так тогда и не выдержал... Но сейчас вспомнилась не эта, уже затянувшаяся временем неудача, а сами курсы. Вот безалаберщина была! Да не только на этих басманных курсах!.. Одни курсанты ходят на занятия, другие — нет. Одни сидят весь вечер, другие уходят с первого урока! А то вдруг появляются какие-то совсем новые люди, только что принятые на курсы.

Да, совсем новые! Вот-вот! И еще: бывало, засиживались допоздна — даже уборщица уходила. А то как-то пропустили все автобусы и трамваи и даже ночевали на курсах...

И вдруг, все это — нужное для него, удобное,— соединясь, возникло перед Нетеловым. Да ведь это вроде того, выдуманного им заброшенного дома!.. Без чужих глаз, без расспросов, без оставления паспорта, без страшного «...вступил в сговор с...»

3

В закусочной было самообслуживание. Когда Дмитрий Устинович с подносиком, уставленным едой, подошел к высокому столику с мраморной крышкой, он заметил за соседним таким же сооружением своего худощавого бледнолицего квартирохозяина. Олег Алексеевич, видимо, уже кончал — пил кофе с ромовой бабой. Стакан, в который налили ему кофе, был — как и полагается в таких заведениях — граненый, из мутного стекла и стоял не на блюдце, а на мокрой мелкой тарелке. Нетелов вспомнил рассказанный Чечелевым случай с чаем в глубокой тарелке. Нет, этот граненно-мутный был все же лучше...

Заметив своего нового квартиранта, Олег, блеснув половинками очковых стекол, сдержанно кивнул ему, вежливо полуулыбнулся. Но только Нетелов принялся за сардельки с макаронами, как от своего столика подошел Олег и положил на край его тарелки ломтик ромовой бабы.

— Вот попробуйте, полюбуйтесь! — сказал он значительным голосом.— Ром вы тут чувствуете?

Смущенный его серьезным тоном, Дмитрий Устинович старательно разжевал безвкусно-сладковатый ломтик и сказал, что нет, ром не чувствуется.

— Вы думаете, что это так, случайно? — Олег Алексеевич поднял палец.— Нет, разрешите доложить, это целая афера! И широко разветвленная...

Заметив, что сейчас не время и не место это объяснять, что он расскажет об этом Нетелову — если ему это будет интересно — дома, допил свой кофе, доел ромовую бабу без рома и ушел.

«Что-то в нем стариковское»,— подумал Дмитрий, вспомнив его серьезность и какую-то старомодную манеру говорить. Со слов Виктора и Клавы он знал, что Олег еще, так сказать, «не нашел себя». Два раза не выдержал в Московский университет, этой осенью едет держать в третий раз («Не готовится ли он на курсах в т о м доме!»), а пока что зарабатывает деньги, сдавая вторую комнату курортникам. «Жадность заедает! — сказала толстенькая Клава.— А мог бы и не сдавать, ведь его отец и мать геологи и высылают ему достаточно из своих геологических экспедиций. Но деньги любит!»

«Все это фарисейство! — подумал Нетелов.— А кто их не любит!» Но так как в Олеге ему что-то не нравилось,

то и его квартирохозяйство он тоже как бы не одобрил.

Покончив с сардельками и рисовой запеканкой, он вышел из закусочной с поспешным видом, однако, взглянув на часы, остановился на тротуаре... Занятия на курсах начались, но если идти на последний урок — как он решил,— то времени еще очень много.

Отправился за чемоданом в вокзальную камеру хранения. Курортники, приехавшие, как Нетелов, без путевок, выстроились тут за своими чемоданами — видимо, тоже нашли крышу над головой. Толстощекий кладовщик при тусклом свете подпотолочной лампы еле разбирал номера на квитанциях и даже порой приносил чужие чемоданы. Хмурый старик в велюровой шляпе, которую он из-за жары сдвинул на затылок, получив свой чемодан, оглядел стены около кладовщика и, найдя выключатель, зажег над прилавком новый свет.

— Не велят второй свет жечь! — угрюмо сказал кладовщик.

— Скажите, что мы, которые в очереди, велели... Это важнее.

И, держа в одной руке чемодан, в другой — жаркую шляпу, ушел. «Как Чечелев! — с какой-то одобрительной усмешкой подумал Нетелов.— Распорядился, будто у себя дома».

Завезя свой чемодан домой и никого — кроме какой-то женщины, открывшей дверь,— там не найдя, Дмитрий Устинович, спустив ноги на пол, полежал на своей — рубль в сутки — кровати, отдыхая, раздумывая... Сколько новых лиц за два дня — за дорогу и за сегодня... Почему же так странно жил в Москве! Дом — работа — столовая — дом... Ну, иногда вечером вокруг квартала — и спать. Или кино, встреча с Ларисой... С Ларисой получилось, конечно, не ладно. Гадали-рядили быть вместе в Туапсе, и вдруг из телефонной будки — отмена!.. Впрочем, это для него неладно, нехорошо, ей же сказано было: «С матерью плохо...» Ну, а это все оправдывает. Чечелев, конечно, пошел бы в открытую, напрямик, все бы рассказал Ларисе. Нет, не рассказал бы. Пока дело не сделано — что рассказывать! Нет, не это... А как бы он в данном случае в о о б щ е?..

Это «вообще» было смутно, как-то не вырисовывалось... Однако надо подниматься и идти... Но Нетелов медлил, вспоминая: что-то он хотел сделать до курсов?

«Ах, да!..»

Поднялся, вытянул из-под кровати чемодан и, покопавшись в нем, вынул несколько листов писчей бумаги. Лучше бы, конечно, была тетрадь, но и это ничего. Он сложил листы вдвое, тетрадью, взял карандаш — ну вот, будет будто что-то записывать за преподавателем...

4

Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо.

«Пиковая дама»

Пришел счастливо для себя — к перерыву перед последним уроком — значит, вместе со всеми, не выделяясь, и войдет в класс. А сейчас он видел, как будущие студенты похаживали по узкому коридору, курили, переговаривались, собирались в группы. Тут были и десятиклассники, и постарше, и еще постарше — в общем, по положению для высшего образования: до 35 лет.

Эти молодые и не очень молодые лица Нетелов заметил сразу, еще при входе — как бы снял их на фотокарточку, но тут же эта карточка стала расплываться. Войдя в коридор, он вдруг почувствовал какой-то жаркий озноб, и лица вокруг зарябили, затуманились. «Устал с дороги, и чего я спешу, мог бы завтра». Нет, это не устал, а страшно... Но чего же страшно! Ведь никто не знает, почему он здесь! Были уже приготовлены правильные, естественные слова: «Я еще не оформился, пришел посмотреть, узнать, что курсы при моей подготовке могут мне дать». Прекрасная фраза!

Но все равно лица рябили, становились плоскими, только контуры, силуэты, а озноб горячо — к щекам, ко лбу, и лишь одно, что надо не упустить: по коридору налево до конца, чтоб в угловую комнату... И повторялось, повторялось, как во сне: «Налево, до конца, в угловую...»

...И урок как во сне, в тумане — все слышал, но ничего не понимал. Временами какой-то ветерок относил этот туман, и тогда виделось на доске написанное мелом: «Деепричастные обороты». И рядом пухленькая строгая девушка-преподавательница с досадливой улыбкой на лице. И улыбку даже понял: «Взрослые, а забыли такое правило!», но потом — опять пелена и все плоское, не-

опознаваемое... Вид же был обычный, ученический: слушал, подперев голову, что-то писал в своей самодельной тетради, опять — не слыша — слушал. Так кругом делали, и он будто тоже...

За темным окном без занавесок вдруг резкий рев пожарных машин, и все глаза — к окнам, и Нетелов — тоже к окнам — и от этой перемены, переключения внимания жаркий озноб как-то ослаб, стал проходить. Тяжелые, будто доверху налитые водой, машины с яркими фарами и с ярым ревом унеслись, а рядом с Нетеловым за столом — когда все снова стали смотреть на доску, на «деепричастные обороты» — вдруг обнаружился не замеченный ранее, высокий, нескладный и какой-то обмякший мужчина с большими грубыми пальцами, в которых почти скрывалась хрупкая, изящная — из какого-то другого мира — автоматическая ручка... И слева за столом тоже прояснилось, вошло в тело — оказывается, тут сидела тоненькая девушка в очках, с аппетитной толстой клеенчатой тетрадью, в которую она уже много и убористо что-то записала. И впереди, и сзади — тоже все рассеялось, развиднелось...

Но тут урок кончился, и все, гремя отодвигаемыми стульями, ушли. Остался только длинный мужчина справа, который неподатливой самопиской продолжал записывать. Скосив глаза, Нетелов увидел, что это другое — пишет, оказывается, письмо. «Нашел тоже место!.. Сколько же он тут будет писать?!»

За окном совсем уже потемнело, зажглись уличные фонари, в здании, где-то на втором этаже, гудели голоса — занятия, видно, там еще не кончились,— но нижний коридор был уже в тишине, и вот-вот в класс могла прийти уборщица, а этот дядя все пишет и пишет свое дурацкое письмо... Нетелов, конечно, тоже сделал вид, что занят своей тетрадью: хмурил лоб, что-то помечал на страницах... Глаза же уже давно промеряли расстояние до простенка между первым и вторым окном.

— Нет, два дела делать хорошо нельзя! — сказал сочинитель письма, в изнеможении откидываясь на заскрипевшую спинку стула и поглядывая на Нетелова.— Или курсы, или автобаза! Сплю на ходу, даже вот ерундового письма написать не могу...

Дмитрий Устинович увидел его усталое, засыпающее лицо, большие, обмякшие плечи.

— Так тогда получается, что это письмо уже третья для вас работа за день! — сказал Нетелов, чувствуя, что начинает какой-то ненужный, не по моменту, разговор.— Письма лучше писать на свежую голову! — быстро добавил он.

И что же — помогло. А может, уже и сам автобазчик решил отложить письмо. Собрал учебники и тетради в кожаную сумку, как бы в оправдание себе проговорил: «Все равно почту в это время из ящиков уже не выбирают»,— и ушел.

Нетелов тотчас поднялся и вправо — к окнам, но приостановился: нет ли кого у дверей класса? А оттуда уже слышны шаги, и в дверь с ведром в руке — сухощавая, с запавшими глазами, уборщица.

— Сидишь или уходишь? — миролюбиво спросила она, дымя дешевой папиросой.

— Я сейчас... Я скоро... Да, я сижу.

И как только она ушла, за нею же следом — к двери: да, коридор пуст. И вот тут уж — к простенку.

И вдруг озноб... Опять горит лицо, не слушаются пальцы, в которых зажат длинный голыш, поднятый сегодня на набережной. И стука не слышит, будто по вате... «Да чепуха! Чего боюсь? Чего это я!» И тогда стук доходит, но ровный, одинаковый, по всему простенку, а надо неровный и неодинаковый... А вот опять пропал. А вот гулкий, как по пустоте... «Это! Тут!» Но теперь везде гулкий, везде гулкий. Будто весь простенок пустой... Рука, пальцы — все онемело от напряжения, от беспомощности; голыш, как вода, стекает между пальцами и — на пол. Нагнулся за ним... Низом, по паркету, донеслись шаги из коридора. И сразу, цепляясь за стулья,— к своему месту, к своей тетради на столе...

Но из коридора никто не пришел. Сидел, замерев, над своей тетрадкой, в которой нивесть что было написано. Сидел, охваченный жаром, твердя про себя: «Ничего, чепуха. Ну, задержался и сижу. Кто догадается!.. Ничего... Чепуха... Кто догадается!»

В соседнем классе гремела отодвигаемыми стульями уборщица и, конечно, скоро она опять придет сюда.

И когда уже ясно, что — нет, озноб стал отходить, и уже спокойнее, разумнее: «Я устал, а вот завтра — без спешки». И еще: «Не надо, чтобы его завтра видела уборщица».

И, идя домой, думал об этом. Самое лучшее — затаиться в каком-нибудь классе, уже убранном ею, а потом, после уборки углового класса, незаметно перейти сюда и остаться на свободе сколько хочешь... Уйти-то ведь всегда можно: будто зазанимался, засиделся в каком-то классе.

Была какая-то инерция поиска — хотелось искать, найти, добыть, но вспомнил онемевшую от волнения руку, голыш, выскользнувший из пальцев... Противно, жалко себя, но этого завтра не будет.

5

Известно, что откровенные разговоры бывают в вагонах, на перепутьях, когда сейчас человека видишь, а завтра он уже канул, исчез на вечность. Так, наверное, Олег Алексеевич посчитал и своего квартиранта: сегодня он здесь, а через три дня съедет — как в вагоне.

...Нетелов разделся и лег на свою — одну из четырех — кроватей и думал, что после дороги и волнений за день тотчас заснет, но сон не приходил. Он зажег свет, взял было газету, но вскоре — видимо на огонь — пришел из соседней комнаты Олег. Сказав обычное в таких случаях: «Не спите?», он с оживленным видом, поблескивая половинками своих стекол, присел на одну из свободных кроватей.

— А, вы тоже читаете? — с невеселой улыбкой спросил он, заметив газету, и почему-то пересел на другую кровать. Потом вздохнул, встал, прошелся по комнате.— Начинают, видите ли, ловить «непойманных воров». Но ко мне это, разрешите заметить, никакого отношения не имеет.

И после такого несколько неожиданного вступления он рассказал — узнав, что Нетелов еще не читал об этом в газете,— что некого дядю привлекли к суду за то, что, получая 78 рублей жалования, он построил двухэтажный домик, который и зимой, и особенно, конечно, в курортный сезон, сдает внаймы приезжим.

— И хорошо, что привлекли! Правильно! — добавил Олег, останавливаясь перед Нетеловым и с каким-то профессорским видом смотря на него поверх своих стекол.— Этим самым, разрешите заметить, проведена теперь резкая черта между людьми, которые делают это на ворованные деньги и из ворованных материалов, и людьми, которые в обычных, коммунальных квартирах, потеснив себя, сдают некоторую площадь остро нуждающимся... Ну вот,

как я — вам. Кроме спасибо, разрешите вам сказать, я ничего от людей не слышу.

Нетелов не знал, что ответить... Действительно, разница есть и, пожалуй, действительно, этому Олегу он может сказать спасибо. Но вообще-то!.. «Вот в вагоне бы разобрались!» — невольно и как-то бессознательно подумал он. Кроме того, не хотелось говорить: еще живо помнился пустой класс на курсах... Что-то будет завтра? Ну, хорошо, обстукает, определит то место, ну, а дальше-то что?..

Олег, не дождавшись ответа, присел на кровать, которая была поближе к Нетелову.

— Вместе с тем, не подумайте, что я какой-нибудь ангел-благотворитель,— сказал он, выразительно смотря своими карими глазами.— Нет, могу открыто вам сказать, что я мечтаю о больших деньгах. Те, что мне присылают отец и мать, или вот эти кровати — все это, с вашего разрешения, чепуха!

— А зачем вам большие деньги? — спросил Нетелов, начиная внимательнее слушать своего собеседника.

Он был старше Олега и чувствовал, что может задать такой прямой вопрос.

— Для машины,— быстро, как о давно продуманном, ответил Олег.— Но не для «Победы», а для «ЗИЛа» или, в крайнем случае, для «Волги».

«Мальчик еще, дурачок»,— подумал Нетелов, вспомнив это ходовое автомобильное мечтание теперешней молодежи. Однако, тут же задав себе вопрос: «Ну, а я? Мне для чего?» — он не нашел ответа. И это было уже: они обедали с Ларисой, она тоже спросила о больших деньгах, и он что-то путался с ответом... Путался, но все же дал ей понять, что желания его не такие уж простенькие...

— Но почему обязательно «ЗИЛ»? — спросил Нетелов.— Теперь, я слышал, в ходу «Запорожец». Самый дешевый.

— А мне не надо самый дешевый! — со значительным видом произнес Олег.

Дмитрий Устинович заметил, что его квартирохозяин время от времени, может быть, для солидности, говорил важно, с весом. И сейчас это случилось, но на миг. И поздний приход Олега, и оживление на его бледном лице показывало, что ему не до сдержанности.

— Я, разрешите сказать, человек злопамятный,—

проговорил он, вставая и прохаживаясь вдоль кровати.— И мне надо отплатить! Мне надо блеснуть...

И, наверное, памятуя, что квартирант его, как вагонный попутчик,— сегодня тут, завтра его нет,— с чувством откровенности и со своими старомодными «разрешите» охотно пустился в воспоминания, не такие уж далекие — в мальчишечьи годы...

Оказывается, там, в этих годах был Фредик Переплетчиков, которого привозили в школу на отцовской «Победе». И на ней же увозили. Весь класс его презирал — или, может быть, делал вид, что презирал,— но Олег, презирая тоже, еще и завидовал ему. И («разрешите сказать правду») завидовал больше, чем презирал. И Фредик Переплетчиков догадывался об этом. Нет, он знал это. И чтобы нарочно позлить Олега, просил иногда мать присылать к большой перемене на этой же «Победе» еще и горячий завтрак...

Педагоги, конечно, осуждали все это, но некоторые, осуждая, все же относились к Фредику Переплетчикову с каким-то уважением — легче спрашивали, легче ставили пятерки. И получалась ложь: говорили одно, а делали другое. Ложь эта перекинулась и на ребят. Нашлись два-три подхалима, которых Фредик Переплетчиков по дороге подвозил к школе и по дороге же отвозил из школы. Ребят этих побили, но педагоги, которые уважали баловня судьбы, заступились за них, обидчиков наказали, а «Победа» продолжала подъезжать к школе и отъезжать от школы. Тогда к ней сзади привязали дохлую кошку, которая, к общему счастью, долго, до самого милиционера, волочилась и подскакивала за машиной; потом, собравшись с силами, побили и самого автомобильного пассажира... Но — нет, ничего не помогло: весь в синяках, Фредик Переплетчиков продолжал ездить и ездить... А Олег продолжал презирать и завидовать, причем больше завидовать, чем презирать. И тот знал это. И это было ужасно...

Так тянулось два года, до выпускного класса... Однажды к школе подкатила уже не потертая «Победа», а новенькая светло-зеленая «Волга», и из нее вышел... Да, конечно, он же и вышел. Это было уже слишком! Олег не знал, что делать: это светло-зеленое чудо, конечно, нарочно! Чтобы еще больше взбесить Олега! И оно будет завтра и послезавтра, и еще, и еще. Оно доконает его, Олега. Он горел, бледнел — он не знал, что зависть может дойти

до такого. Презрение уже совсем улетучилось, осталась только она — черная, все съедающая...

В этом смятении он не заметил растерянной улыбки на лице Фредика Переплетчикова — она ему все еще казалась надменной, хвастливой. Однако она была растерянной... Электрическая лампочка, прежде чем перегореть, потухнуть навсегда, иногда загорается ослепительным светом. Такой была и ненавистная «Волга» для Олега. У отца Фредика Переплетчикова накануне отобрали служебную «Победу» и передали ее в трест такси. Бывший баловень судьбы, чуть не плача, упросил знакомого шофера на «Волге», которого он перехватил за квартал от школы, подвезти его.

И лампочка потухла... Фредик Переплетчиков стал, как все, ходить в школу пешком, былое презрение и осуждение стали утихать, но зависть так не смиряется — Олег, вспоминая свои черные дни, чувствовал себя неотомщенным.

— Сейчас он уже три года как работает в одной строительной конторе,— глухо добавил Олег, вынимая красивую коробку с дорогими папиросами.— В вуз не пошел и, с вашего разрешения, ничего из себя не представляет... Но, тем не менее, вот как хочется лихо, чертом пролететь мимо него на собственной «Волге», на «ЗИЛе» или даже на самой «Чайке»!..— Он помедлил, взглянул поверх своих стекол.— Вы, конечно, скажете, что это мелко, глупо.

— Нет, почему же, я вас понимаю... То есть я хочу сказать, что вас можно понять.

Не «можно», а Нетелову эта история была вполне понятна,— она пробудила его недавние еще годы, когда он с неприязнью, с тоской смотрел на чужое преуспевание... «Чечелев же, конечно, не понял бы,— подумал он,— или отнес бы это к своим «присутствующим», ко второму разряду».

— Я тоже думаю, что тут есть что-то такое естественное для человеческой породы,— опять, возвращаясь к профессорскому тону, произнес Олег Алексеевич, внимательно смотря на свою длинную дымящуюся папиросу.— Кроме того, эта история помогла мне, так сказать, с юных лет увидеть, что, несмотря на всякие красивые разговоры, состоятельных людей, то есть, попросту говоря, деньги у нас все еще уважают...

6

Деньги,— вот чего алкала его душа!..

«Пиковая дама»

И он стал говорить о том, что и Фредик, и машина — это только дань прошлому, что сейчас он озабочен более серьезным: какая профессия может больше всего принести жизненных благ. Нетелов же, вспомнив в а г о н н о е, продолжал думать о нем. «Нет, дело не в том: понял бы это Чечелев или не понял, а в том, что он этого автомобилиста в покое не оставил бы!.. Как того проводника с лампочкой. Пошел бы к его отцу, не помогло — на отцовскую службу...»

— ...или возьмите врачей,— меж тем говорил Олег, вдоль кровати расхаживая по комнате.— Им надо иметь полторы-две службы, чтобы жить, так сказать, на соответствующем для них уровне... То же и педагоги! Моя тетя Нина Ксенофонтовна работает в двух школах, да еще, разрешите добавить, и в третьей чего-то прихватывает. Профессия инженера не плоха, но если он только что-нибудь изобретет, усовершенствует... Вообще, вы, наверное, заметили, что у нас есть профессии с приработком: учрежденская уборщица охотно придет к вам окна помыть, слесарь — кран исправить, обойщик из мастерской в воскресенье вам диван обобьет... Но самый большой приработок в торговле...— Олег Алексеевич, усмехаясь, посмотрел на Нетелова.— Да, в торговле... Я, разрешите доложить, специально этим интересовался... Ведь прежде чем выбрать профессию, надо ко всему приглядеться, взвесить...

— Там, по-моему, не приработок, а нечто другое,— заметил Нетелов.

— Верно. Но это «другое» иногда бывает таким, что само в руки идет! Только не отказывайся... В нашем доме еще полтора года назад жил, пока не переехал в отдельную квартиру, один, так сказать, хозяйственный тип по фамилии Кукуев. Был он мужик темный, но непрестанно чем-нибудь заведовал: магазинами, складами, базами, а то для пользы дела не брезговал и ларьками... Какая же, разрешите узнать, была эта самая «польза дела»? Он все это нам объяснил и разъяснил... Целая, знаете ли, наука.

Олег приостановился, и Нетелов подумал, что он,

может быть, не хочет, не решается говорить дальше. И подтолкнул его.

— Вы сегодня в кафе,— сказал Дмитрий Устинович,— показали мне ромовую бабу...

— Это из другой оперы! — Олег махнул рукой.— Это не из торговли, а из производства... Но Кукуев и это, конечно, знал. Он знал все, что приносит деньги. Называется оно дурацким, бюрократическим, но точным словом: н е в л о ж е н и е. Разрешите вам пояснить: если вы делаете часы, телевизор, мотоцикл и так далее, то все детали должны быть на месте, иначе механизм работать не будет и его не продадут, и его не купят. Если же в ромовую бабу не доложить рома, в торт — крема, в мороженое — сахару, в кильки — перцу и так далее, то все это и продадут, и купят, и обычно не заметят. Разве только какие-нибудь пижоны. Вот вам и деньги!

Он сделал выразительный жест рукой, и Нетелов почувствовал в этом какую-то зависть Олега к «невложенцам».

— Но кукуевская наука о другом, о торговле,— продолжал Олег.— Товар, с вашего разрешения, уже произведен, он уже в магазине, теперь важно одно: можно ли с ним, с товаром, как-либо поступить? Если нельзя, то, значит, вы не туда попали, не то занятие себе выбрали.

И он передал те главные положения, которых придерживался Кукуев. Первое — правильно выбрать должность. Если Кукуеву предлагали какую-нибудь постную, целомудренную — на одном только жалованье — работу, он благодарил за приглашение, за честь и шел искать другую. Настоящая, правильная должность должна была иметь побочные доходы, которые обычно во много раз превосходили зарплату. Олег заинтересовался: откуда же могут быть эти доходы? Оказывается — от элементарной физики. Проницательная физика установила, что сыпучие вещества могут рассыпаться, жидкие — разливаться, полужидкие — высыхать...

Открытие это было сделано, как известно, очень давно — еще наши дедушки проходили это в школах,— но старорежимные, темные бакалейщики не считались с физическими законами и тяжелой дланью — учили магазинных мальчишек не рассыпать сахар, не разливать прованское масло, не держать варенье открытым... В наше же время, когда научным открытиям было дано полное и

повсеместное признание, добрые торговые дяди на основании процветающих физических законов (а также, наверное, вспомнив свое далекое, но все еще горькое рукоприкладное обучение у малообразованных бакалейщиков) установили небольшую, но твердую норму возможных рассыпов, разливов и усыханий товаров, на которые карающая длань закона уже не могла гневаться.

Эти научные изыскания были приняты и поняты кукуевыми с большой охотой: бери, раз дают! И они смело, с легким сердцем приобщали всякие н е с о с т о я в ш и е с я, не случившиеся товарные усушки и утруски к своему жалованию...

* * *

...Было уже поздно, уличный фонарь, бросавший на потолок белый треугольник, погас, и в комнате остался только один свет настольной лампы, которая стояла у кровати Нетелова. Тень от расхаживающего Олега мельтешилась по стене, и Дмитрий Устинович, смотря на нее, чувствовал сонную усталость в глазах. Но несмотря на то, что хотелось спать, он продолжал слушать Олега. Его не занимало, какую профессию выберет молодой квартирохозяин, но в раздумьях Олега о доходном месте Нетелов почувствовал ту же жажду, что привела его сюда, к дому с к р е с т и к о м, и ему интересно было, как живет эта жажда у другого... А она, несомненно, была, жила. Олеговы усмешки над Кукуевым вместе с тем говорили о том, что и любой, а тем более умный человек может безбоязненно взять то, что брал — да и берет — простодушный Кукуев.

— Так что же, вы хотите пойти, так сказать, по торговой части? — спросил Нетелов.

Олег остановился у дальней стены, и на его худощавом бледном лице блестели из-за половинок стекол карие внимательные глаза:

— Нет, я только еще выбираю, интересуюсь, где и что...— он помедлил, улыбнулся.— Есть, разрешите сказать, варианты самые неожиданные,— он опять вынул красивую коробку папирос.— Да, самые неожиданные. Такие, что уж совсем безобидно. Тут уж никто и слова не скажет... И, главное, не постепенно накапливать, а сразу получишь то, что хочешь...

Не желая того, Нетелов спросил с ненужной поспешностью:

— Что же это такое? Что за работа?

— Это не работа...

Откровенность редко останавливается на полуслове. Кроме того, надо же было с кем-то и посоветоваться. А тут удобно, уместно: квартирант его из столицы, старше годами, и, главное, сегодня он тут, завтра его нет, и, значит, никому не растрезвонит.

И Олег поведал о том, что в нашей жизни время от времени у кого-то остаются беспризорные, не знающие, куда приклонить голову, большие деньги... Какой-нибудь ученый или высокоответственный старец или даже тот же состарившийся Кукуев женится на розовом создании в возрасте от девятнадцати до двадцати лет, а по прошествии быстротечного времени, никого не спросясь, переходит в лучший мир. Создание, еще недавно розовое и юное, однако не набравшее за это время ни ума, ни образования, чувствует себя выброшенным на мель. И хотя эта мель из золотоносного песка, но делать созданию с этим песком положительно нечего... Но вот приходит молодой, однако опытный человек, образ которого давно мучил ее, давно стоял перед глазами — не потому, конечно, что он был ослепителен, а лишь потому, что молод,— и начинается новая, на золотом песке, жизнь...

— И у меня подобное как раз есть на примете...— Олег опять похаживал вдоль кровати.— Есть на примете, но как-то, понимаете... Как вам объяснить... Но, в общем, она милая, и я бы сказал... Нет, она хорошая! Кроме того, согласитесь, что в данном случае надо смотреть на вещи, так сказать, более здраво... Не так ли?

Нетелов слушал, и какое-то противоречивое чувство поднималось в нем. Нет, он в своей жажде не дошел до этого. Но не потому, что осуждал подобное, а просто не додумался до этого и потому на какой-то миг даже позавидовал ловкой хватке Олега. Но только на миг — гнусно было бы, если додумался... Но, вместе с тем, то, за чем он приехал в этот город, разве было лучше? Конечно, лучше — он никого не обманывал, ни перед кем не притворялся из-за своего *крестика*! Просто будет находка... Находят же — даже дети — какие-то кубышки с монетами. Так и тут будет. Будет, но не так... Там случайно нашли — все заахали, сбежались; тут же человек

нарочно приехал и, конечно, ахать будет только он, видеть найденное будет только он...

Олег ждал какого-то ответа, и Нетелов — как уже не первый раз за этот долгий день — вспомнил своего вагонного соседа: вот он бы ответил, не пощадил! Не пощадил бы ни Олега; ни себя — если бы, конечно, сам нацеливался на подобное... Да нет, Чечелев и подумать о подобном не мог бы! И вдруг образ человека в стандартном коротком плащике встал в памяти в такой силе и в такой ясной чистоте, что Нетелов, вдруг приподнявшись на локте, резко смяв локтем подушку, сказал Олегу:

— Вы мне откровенно, начистоту, и я... Да, и я вам начистоту... Это гнусно! Облапошивать какую-то молодую дуру... Без всякого чувства! Это просто подло! Не обижайтесь. И давайте спать! Уже поздно...

И пока говорил, слышал свой громкий и, как казалось, чуть бубнящий — как тот, бубнящий! — голос...



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

> Приходите к половине двенадцатого... Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни...
>
> *«Пиковая дама»*

Подходя к магазину, Нетелов все замедлял и замедлял шаги. Дойдя, прошел мимо двери и остановился у витрины. На наклонном стеллаже лежали сахарные щипцы, клещи, гвозди, электрические розетки, штепселя, стояла кофейная мельница, мясорубка с поднятой желтой ручкой... Что надо было, тут не лежало, но ведь всего выставить нельзя, поэтому надо войти в магазин, спросить... Но стоял, рассматривал кофейную мельницу с голубыми цветочками на боках, потом — громадный шестидюймовый гвоздь... «Куда такой! Разве только корабли строить!» И все стоял... Поднял голову, вгляделся: в затемненном стекле отразился невысокий человек с русыми волосами, тщательно зачесанными спереди назад. Костюм песочного цвета сидел мешковато, галстук чуть сдвинулся, но был красив, шел к костюму. Поправил галстук и опять стоял...

...Проснулся сегодня утром с чувством чего-то хорошего, смелого... Да, он правильно вчера ответил. Молчал-молчал, а потом ответил по-настоящему. Будто даже не он! Нет,

почему же не он? Ему и в голову никогда не пришло бы подобным образом, через какую-то девицу что-то добыть. А эти торговые шашни, о которых Олег говорил будто насмешливо, а сам, видно, был не против... И за это тоже надо было отчитать, а он промолчал. А с завистью его к какому-то Фредику сдуру даже согласился! С этого и началось — Олег почувствовал в нем своего родного человека и пустился в откровенности... Но хорошо хоть к концу он его остепенил, сбил. Нет, он не тот — не свой ему.

И вот вчерашнее, как подытоженное, отходит, и сейчас другое — сегодняшний наступающий день, день с планом, с делом... Но опять — не то, не то! Хоть это и другое, но чем же оно отличается? Скажи Олегу о крестике, и он тут же и поймет, и согласится, и в помощники еще попросится...

И он лежит, подыскивая в своем деле то, что тоже может отстранить его от этого человека... И долгий опыт самоуспокоения приносит прекрасное, убедительное: это — ничье! Ну да, то, что там спрятано в стене, никому не принадлежит. Когда-то был хозяин, но он сбежал, и сейчас это как гриб в лесу — кто найдет, тот и сорвет. И тут Олег уж окончательно — в сторону, нет, он не свой, не родной ему...

И как только с этим покончено, возникает план, к которому пришел вчера, уходя с курсов. План легкий, удобный, и это обнадеживает. Нетелов часто не сразу, с трудом приходил к каким-либо мыслям, решениям и потому, придя к ним, ценил их, редко отказывался от них. И сейчас это тоже заставляло действовать.

Пока одевался, все думал об этом, и вдруг (по поговорке «нужда разум острит») вчерашний план увеличился: надо все сделать за один раз. Да-да — не только обстукать и найти место, но и тут же открыть его!.. За один раз, сегодня, сразу! Это — великолепно! А завтра — свобода, все кончено, все позади и — в Туапсе...

* * *

...Но все вот стоял перед магазином и стоял...

Нет, до великолепного было далеко. Надо войти, купить и положить его в карман. Это совсем не то, что где-то, в каком-то доме что-то обстукивать... Стучи, пожалуйста, сколько хочешь — что же тут такого! Но с ним в руках! Так и виделась картина...

Кто-то прошел сзади, толкнул, извинился. Что это он стоит как привязанный у этой витрины! Пошел по тротуару, но у следующей витрины опять остановился. Лежали розовые, покрытые лаком, деревянные сосиски; рядом — копченый окорок из папье-маше, для большей иллюзии завернутый в целлофан... Поднял голову, и опять в стекле витрины увидал себя — тщедушного, в мешковатом костюме, но уже с поправленным красивым галстуком.

...Так и виделась картина: из темного класса он перебирается в угловой, уже убранный уборщицей, и тоже потушенный; обстукивает простенок, находит гулкое место, начинает отбивать штукатурку, и вдруг зажигается свет!.. Да, зажигается свет, а он с долотом в руках... А это уж инструмент, орудие — вроде финки в руках...

Рядом остановилась маленькая старушка с прищуренными глазами. «Милый гражданин,— сказала она,— посмотри, сколько стоят эти тапочки? Я не разберу». Оказывается, это была уже другая витрина. Нетелов, смотря на табличку около модельных туфель, сказал цену. Старушка ужаснулась и ушла.

...Все это чепуха! Какой свет! Надо дождаться, когда уборщица во всех классах кончит работу и уйдет. Ну, лишний час подождать. Вот и все — подождать. Если же кто вдруг заявится, то не в темноте же он будет идти! Зажжет в коридоре свет, а двери в классах наверху стеклянные, и сразу будет видно. Пока этот непрошеный гость дойдет до углового класса, Нетелов откроет окно и выпрыгнет. Ведь первый этаж! И то это на крайний только случай. На крайний! В самом деле: кому и зачем среди ночи приходить на курсы!..

2

Солнце стояло над морем, блестела вода, отраженный от белых зданий свет шел навстречу солнцу, и от этого всеобщего блистания и свечения хотелось поскорее уйти в тень.

Выйдя к пляжу, Нетелов стал искать глазами какой-нибудь кустик или тень. Налево виднелись деревца, он вдоль пляжа было пошел к ним, но неожиданно его окликнули, и он повернул на голос.

Это были Виктор и Клава. Он — в белой полотняной шапочке и в трусиках, она — в черном купальном костю-

ме — лежали на солнце, а рядом на палках был укреплен небольшой зеленый тент.

— В вашем обмундировании надо поскорее раздеваться,— сказал Виктор, кивая на свободное место под тентом.

— Да я, собственно, не собирался,— Нетелов невольно прижал согнутую левую руку к пиджаку.— Хотел просто так посидеть, посмотреть...— и чтобы отвлечь от себя, спросил первое попавшееся:— А вы каждый день ходите?

— Да вы не стесняйтесь, я не буду смотреть,— сказала толстенькая Клава, отворачиваясь и показывая полные, но по-молодому упругие плечи.

И она тут же — на вопрос Нетелова — защебетала о том, что, к сожалению, они ходят не каждый день, что эту неделю они работают в лаборатории в вечерней смене и поэтому, как все люди, могут днем ходить на пляж; но что, вместе с тем, из-за Виктора они не успевают на пляж — он набирает то одну, то другую побочную работу — и что вот сегодня они совершенно случайно выбрались...

Пользуясь тем, что Клава отвернулась и говорит, а рослый загорелый Виктор перевернулся на спину, Дмитрий Устинович поспешил снять пиджак. Однако осторожно, чтобы не выпало... В левом внутреннем кармане стоймя стояла стамеска с деревянной ручкой.

...Все же после всяких опасений и страхов он наконец-то вошел в магазин, но долота там не оказалось, и он купил широкую стамеску, которая для него, пожалуй, была лучше долота. Но вот от ручки она велика: стоя во внутреннем кармане, стамеска высовывалась из него.

Сняв пиджак, он сложил его вдоль валиком — получился как бы пирог с начинкой из стамески — и положил на песок. Оставшись в трусиках, он лег под тент.

— Ну, как ваше кафе? Как пиджак после пожара? — спросил Нетелов, чтобы не молчать, хотя понимал, что со вчерашнего дня, наверное, ничего не изменилось.

Виктор ответил, что эскиз для кафе он закончил и сдал. Клава, теперь повернувшись к тенту лицом, добавила, не без огорчения, что да, одно дело у них закончилось, но другое вот начинается: ее, Клаву, на той неделе выбрали в «общественные контролеры», а вот теперь, на днях, предстоит обход магазинов.

— Тем лучше! — заметил Виктор.— Значит, на этот раз мы из-за тебя не пойдем на пляж! И уже не ты, а я

буду ворчать. И, поверь, что это будет не так беззубо и неинтересно, как получалось у тебя...— Он перевернул свое большое тело на живот, поправил белую шапочку на голове и взглянул на Нетелова.— А вообще-то я сам пошел бы на это дело. Но не жуликов ловить на обвешивании и обмеривании, чем будет заниматься моя дорогая Клава, а совсем с другой целью. С кардинальной целью!

— Вчера мой квартирохозяин,— отозвался Дмитрий Устинович,— тоже говорил о торговых делах. О каком-то Кукуеве...

Виктор скосил черные густые брови, усмехнулся.

— Да, жила у нас такая личность,— помедлив, сказал он.— И довольно откровенная... Конечно, он рассказывал, будто не о себе, а о других ловкачах. Но, в общем, и меня с Клавой, и нашего Олега он вполне просветил, образовал — хоть завтра за прилавок становись! Все знаем...

— Вполне возможно, что Олег и воспользуется этим образованием! — скривя губы, как-то надменно проговорила Клава и, отряхнув песок с купального костюма, медленно пошла к воде.

В черном она казалась стройнее, менее полной, чем дома в светлом ситчике, и Нетелов невольно подумал, что в этих суматошных днях, начатых со внезапного отъезда из Москвы, им как-то забыто все *женское*. Он не только забыл о Ларисе — может, лишь раз вспомнил о ней,— но ни по дороге в поезде, ни здесь, в городе, не взглянул, не заинтересовался ни одним женским лицом...

—...Жуликов, конечно, ловить надо! — продолжал Виктор, когда Клава ушла.— Но не это в нашей торговле главный порок. А истуканство! Я не знаю, как у вас в столице, а у нас, если вы заходите в магазин, то обычно видите за прилавком несколько истуканов женского или мужского пола, которые смотрят куда угодно, только не на покупателя! Отвечают «да» или «нет» и отворачиваются. Им скучно с вами! Им хочется быть истуканами, а вы заставляете их что-то говорить, отвечать... Вы хотите что-то купить, а они не хотят, чтобы вы покупали! Для этого надо двигаться, снимать что-то с полки, показывать, а им, истуканам, неохота. Кроме того, этим деревяшкам совершенно все равно: купите вы или не купите. Они ничем и никак не заинтересованы...— Виктор передохнул, почесал черную бровь.— Я не знаю... Да, не знаю, но, может быть, таким, у которых нет гражданского сознания или нет

любви к этому делу, может, таким надо отчислять копейку, пятак или гривенник с каждой проданной им вещи. Может быть, тогда они начнут шевелиться, начнут сами спрашивать, что вы желаете купить. Я не знаю... но что-то надо делать... Вот попомните: как только мы выправим сельское хозяйство, нам придется заняться торговлей во всем объеме — и с экономической, и с этической стороны.

Виктор полежал, помолчал, потом встал, могуче потянулся и, узнав, что Нетелов купаться не пойдет, сбросил с головы полотняную шапочку и пошел к морю.

3

> Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое.
>
> *«Пиковая дама»*

Дмитрий Устинович остался один. Справа и слева лежали, ходили по пляжу, купались люди, но здесь, под зеленым тентом, он был один. Он посмотрел на свой светлый пиджак, сложенный предусмотрительно валиком, и все предстоящее снова вернулось к нему...

Но, странное дело, вернулось теперь без всяких страхов и опасений. После того как он утром понял, а недавно, расхаживая перед магазином, еще раз уверился, что его будущая находка — это н и ч ь е, что это, действительно, как гриб в лесу, и что, следовательно, есть ясное открытое м о ж н о, а также и то, что никто и ничто ему не помешает (а если вдруг и помешает, то он благополучно уйдет) — после того как он во всем этом уверился, к нему пришла та душевная легкость и определенность, которых не было за все это беспокойное время и которые при его замкнутом и самолюбивом характере теперь как бы говорили: все правильно, ты хорошо рассудил, и надо действовать...

Эта легкость, когда он шел к пляжу, быстро привела, живо представила в воображении главное, заветное и теперь уже близкое: к р е с т и к не на бумаге, а уже в руках... Тут давно были всякие предположения... Конечно, это будут не те голубые красивые, но ничего не значащие бумажки, которые однажды при нем вдруг посыпались

из старого журнала. Нет, тут будет другое. И фантазия разыгралась...

Когда пришел на пляж и оказался рядом с Виктором и Клавой, его на какой-то миг смутила длинная стамеска, неудобно лежащая в кармане, но потом, когда все устроилось, мысли его вернулись к крестику, к скорому обладанию, и он плохо слушал обоих молодоженов — и Клаву с ее воркотней, и Виктора с его истуканством...

Сейчас, пока они купались, жажда, которая погнала его из Москвы, посадила на поезд и привезла сюда, теперь, когда близко было утоление ее, разгоралась все более и более, и он видел себя уже после — по дороге к Ларисе. Необыкновенное будет время! Конечно, нет нужды все рассказывать ей, но все же он даст ей понять,— в чем она сомневалась,— что распорядиться богатством он сумеет умно, красиво... Против Ларисы держалось какое-то «но» (теперь он вспомнил о нем), может, потому, что она не считалась с его мнением, может, оттого, что подшучивала над его самоуважением, непогрешимостью... Нет, он докажет...

И он стал готовить эффектную фразу — он любил это заранее приготовить,— которая должна будет показать, насколько неправа была Лариса и насколько прав был он.

...Дмитрий Устинович дождался, когда Виктор и Клава, выйдя из воды, подошли к тенту.

— Я пойду! — сказал он, поднимаясь. Виктор и Клава пожалели, что он не купался, и Нетелов хмуро-усмешливо добавил: — В командировке не раскупаешься! Все начальство разбежится: кто по обедам, кто по совещаниям. Тогда их надо будет ловить.

И, может, оттого, что вообразил себя действительно в командировке, или оттого, что можно в нем еще более укрепилось, но свой пиджак со стамеской он надел довольно свободно, ловко, и ручка стамески ничему теперь не мешала.

* * *

Надо было прожить до вечера.

И он прожил. Пораньше пообедал, по дороге домой зашел в кино — о картине потом запомнилось только, что она была цветная,— придя домой, лег спать и после вчерашнего затянувшегося разговора заснул крепко, но в восемь проснулся как от толчка, прислушался к соседней

комнате — не пришел бы опять Олег со своими разговорами,— но там было тихо, и Нетелов не торопясь встал.

К восьми сорока — к последнему уроку — он был уже на курсах.

...Всю дорогу нес в душе предстоящее. Уже не можно и не ничье держалось в памяти — в них не было сомнения,— а тот чертеж действия, который предстояло осуществить. И когда в этом чертеже дошел до последнего — до стамески, то вдруг возник один далекий вечер на текстильной фабрике, где он тогда служил.

...В клубе фабрики была встреча с судейскими работниками, и один из них — безулыбчивый, скучливый — меланхолически говорил: «...Во всех старинных романах двенадцать часов ночи считались самым безмолвным, самым глухим временем, когда совершались дела, требующие тайны. Сейчас жизнь и работа города затихают намного позже, и полночь у нас не в 12 часов ночи, а в три часа утра. В это время спят уже положительно все — в том числе и ночные сторожа и воры. Бодрствует только одна довольно шумная профессия: взломщики стен... В другое время они не могут работать, так как без стука им никак не обойтись. Кирпич — это не подушка, бесшумно его не вынешь...»

Нетелов даже приостановился от этого воспоминания — куда, в чью жизнь, в чью профессию он хочет вступить? Но долголетнее умение утешать самого себя тотчас подобрало доводы. Во-первых, и это главное, там чье-то, а тут — ничье, и, значит, он никакой не взломщик, а обычный, освященный веками, искатель кладов; во-вторых, и само дело другое — оно должно быть сразу под штукатуркой и, следовательно, кирпич отбивать не надо; и, в-третьих, если даже и кирпич, если, значит, стука не избежать, ну, что же, он подождет и новой полуночи — трех часов...

4

В класс вошел очень удачно — его и не заметили. Несколько человек, уткнувшись в конспекты, сидело за столами, а остальные сгрудились у бокового открытого окна, выходящего в сад, уже подернутого поздними сумерками, и кому-то находящемуся там, в саду, кричали:

— Ну что?

— Что говорят?

— Прораба видел?

Из-под окна послышался какой-то ответ, которого Нетелов не разобрал.

— Да что с этими чурбаками разговаривать! — опять понеслось из-за окна.— Они всегда скажут, что они «люди маленькие»!

И говоривший, плотный сутуловатый парень, легко подскочив на подоконник, спрыгнул в сад.

— Зря побежал... Вон Успенский с прорабом идет. Значит, нашел...

— Это не прораб.

— А я говорю — прораб!

— Ну, все равно... Любавский лишнего жару ему поддаст.

Нетелов невольно подошел к окну и из-за чужих спин взглянул в сад, но там ничего не было такого... По саду — пожалуй, это был не сад, а просто участок с кустарником, с травой и кое-где стоящими пирамидальными тополями — ходили люди в брезентовых робах; в глубине участка стоял грузовик, пробравшийся сюда задним ходом, и с него сгружали белый кирпич. Молодой паренек, подтягивая провод, налаживал свет — лампочка в его руках то потухала, то загоралась,— видимо, строители собирались работать и ночью.

Опять раздались голоса и здесь, и в саду, но Нетелов, так ничего и не поняв, отошел от окна. За тем столом, за которым он сидел вчера, нашел ту же тоненькую девушку в очках и с той же толстой клеенчатой тетрадью. Подходя к своему месту, он вдруг приостановился — ясно, отчетливо повторилось вот это: «Строители собираются работать ночью».

И сразу: «Все пропало!»

Он хмуро сел на вчерашнее место и смотрел на черную доску со свешивающейся углом меловой тряпкой. Что-то было написано на доске, зачем-то стал читать это написанное — читал и читал, не понимая, держалось только одно: «Тоже ночью... тоже ночью!» Случайно взглянул на девушку, та подняла голову от своей тетради, их глаза встретились, и она, чтоб что-нибудь сказать, проговорила:

— Столько шуму из-за этого пня! — она кивнула назад на раскрытое окно, где столпились курсанты.

Нетелов не то спросил, в чем дело, не то только вопросительно взглянул, но девушка охотно рассказала о том,

что для подъездного пути на будущую стройку срубили тополь. И еще хотят рубить, чтобы машинам было удобнее.

— Но как же быть,— добавила она,— если надо...

Дмитрий Устинович неожиданно заулыбался. Нет, не тополь и не будущие тополи, а то, что «тоже ночью» стало сейчас прекрасным. Ну да! Строители не только ничем ему не помешают, но еще и помогут! Чудак! Чем они могли бы ему помешать — у них свое дело, у него — свое... Но и помогут. Ну, конечно: под их шум и стук за окном он может тут что угодно делать! Стучи, наколачивай — кто там разберет, где это происходит... Тот, судейский, со своей полуночью в три часа утра, не учел такого случая.

* * *

Меж тем в окно влезли те двое, которые ходили отбивать тополя, и Нетелов в одном из них признал своего нескладного, высокого соседа с автобазы, задержавшегося вчера из-за письма. Окно закрыли, и все курсанты, переговариваясь, вернулись к своим столам и стали рассаживаться.

—...Главное не это! А как прораб для себя удобства ищет,— быстро, не остыв еще, говорил длинный автобазчик.— За чужой счет. Да будь, к примеру, это его дачный участок, разве он позволил бы, чтоб для разворота машины рубили деревья? Он бы заставил шофера идти задним ходом.

Худой человек с длинным унылым носом живо отозвался.

— Плохо вы знаете дачников! Дачник и заднего хода не позволил бы, чтоб не было следов от шин на его драгоценном участке! Он бы, милый, все кирпичи с грузовика на собственных руках перетаскал...

В это время в класс вошла тихая женщина в старомодной закрытой блузке с мужским галстуком на полной груди и сказала, что преподаватель математики заболел, и последнего урока не будет.

Нетелов невольно ужаснулся: что же, сейчас уходить? Как всегда, с новым, непредусмотренным, он не знал, что делать. Но на этот раз быстро с этим справился: он же хотел остаться, как вчера, после последнего урока, когда все разойдутся. Ну, останется на час раньше — вот и все!

Но многие не разошлись — продолжали поносить

недоумков, равнодушцев, стяжателей. Снова вернулись к разговору с прорабом — этим не надо ограничиться: мало ли что он завтра опять может выкинуть. Кто они для него! Какие-то частные лица. И потом: с прорабом был просто разговор или пусть даже перебранка, а ему, чтоб не рубить деревья, требуется указание. Поэтому завтра надо сходить в горсовет. Выбрали троих, в том числе и автобазчика, фамилия которого оказалась Успенский. И опять заговорили о равнодушных в работе...

Дмитрий Устинович устремил глаза в свою тетрадь, слушал и радовался: они поговорят и уйдут, а время сейчас пока идет, и он не прячется в темном классе, а сидит на свету, со всеми. Но потом стал вникать в разговор, в происшедшее недавно... Это, конечно, тоже чечелевское — броситься защищать какие-то деревья! Почему-то сейчас вспомнился директор завода, который для выставки не дал ему двухсот рублей на голубой бархат,— тоже вроде этих деревьев. И Виктор со своей злостью на истуканство... Нет, это не для него! Понять еще можно, можно одобрить, но действовать... У него у самого жизнь долгое время была не устроена, а он еще будет вмешиваться в постороннее...

— Или возьмите вот рыбу! — говорил меж тем тот плотный, сутуловатый паренек, который недавно на помощь Успенскому выпрыгивал в окно.— Многие держат дома аквариумы, но ведь ни один дядя не выльет в свой аквариум стакан керосину или краску, оставшуюся после ремонта... А в реки льют! Река-то ведь ничья!

Сидящий неподалеку от Нетелова смешливый, с ямочками на щеках — по возрасту, видимо, десятиклассник — сказал:

— Я бы этих отравителей опускал на веревке в отравленную ими воду. Опускал бы по методу «нечетной операции» — то есть, три раза опустить, а два раза вынуть...

— Все это шутки! — проговорил худой, с унылым носом.— А ведь знаете, уже пришла пора заводить на стерлядей, на судаков, на осетров фотографии... Или там — кинокадры, личные дела... Детям будем показывать, какие рыбы мы еще застали.

«...река-то ведь ничья»,— дошло до Нетелова и показалось чем-то знакомым. Ну да, крестик — тот тоже ничей... Но нет — он по-настоящему, без всяких ухмылок,

ничей. И вдруг почему-то — может, от этих людей кругом — мелькнуло такое: ничей-то ничей, но и н е е г о!.. Так почему же он...

Но Нетелов, вспомнив г р и б в л е с у — довод убедительный,— отогнал от себя это непредусмотренное, случайное, поудобнее уселся за столом, вынул из кармана карандаш и хмуро, будто весь углубляясь в занятия, склонился над своей тетрадью. Когда вынимал карандаш, почувствовал пальцами холод стамески.

«А они и не знают, что я с н е й».

И вдруг его куда-то отнесло — вот класс, вот люди, вот общий разговор, а его тут нет, не может он тут быть...

Но, слава богу, все задержавшиеся в классе стали собираться: защелкали замки портфелей, зашумели отодвигаемые стулья. Какой-то курсант лет тридцати, но полноватый, в парусиновом, узком на нем пиджачке приостановился:

— А что, братцы,— сказал он, опуская потертый портфель на стол,— не пойти ли нам к Юсольцеву сейчас? И не троим, а вот всем? Ну, конечно, не в горсовет, а на дом. Я был у него два раза на приеме, и это мужик хороший... Настоящий!

— Неудобно... Если все будут ходить на дом...

Но раздались голоса и о том, что завтра с утра его можно не застать в горсовете, а прораб тут без «указания» почувствует себя на свободе; что сейчас пустой урок и все равно делать нечего и что в конце-концов они ведь идут к нему не по личным делам...

Все пошли к двери. Кто-то покосился на одного, оставшегося за столом. Высокий Успенский на правах знакомца, который вчера заговорил с этим человеком о письме, спросил его:

— А вы?

Нетелов уже успел приготовить ответ. Как только сейчас заговорили о председателе горсовета, он подумал о том, что его тоже могут позвать с собой.

— Да я, собственно, еще не на курсах,— твердо, с убежденностью в голосе, начал Дмитрий Устинович. — Я тут только второй день... Еще не оформился...

Но тут же спохватился: «Господи, что я говорю!»

— Какое это имеет значение? — Успенский добродушно усмехнулся.— Вы же против порубки деревьев?

5

— Выиграла! — сказал Германн, показывая свою карту.

«Пиковая дама»

Пожилая женщина в фартуке, которая открыла им дверь, сказала, что Михаил Степанович в саду, и по застекленному, светлому от луны коридору проводила их.

На открытой веранде, обращенной к саду и освещенной переносной настольной лампой, был накрыт чайный стол. Две белобрысые девочки с топорщившимися косичками, низко нагнувшись, пили чай из блюдечек, стоящих на столе. Красивая женщина, сидящая во главе стола, что-то говорила девочкам, но те мотали головенками, отрывались от чая, чтобы посмеяться, и опять склонялись над блюдцами. Лунный свет серебрил белую скатерть на краю стола, но, подходя к лампе, терялся, и тут было все желто от электрического света — скатерть, белая посуда, никелированный чайник.

Когда курсанты появились, Юсольцев, извещенный домработницей, сошел по темным ступеням с веранды в сад и, стоя, выслушал длинного, медленно говорящего Успенского.

Был председатель невысок, но широкоплеч, с гладко остриженной, по-летнему, головой, на которой спокойно лежал лунный блик. Когда Успенский кончил, Юсольцев, сделав несколько шагов в сторону, позвал всех на скамейку около клумбы, а сам ушел в дом. Через стеклянную дверь веранды было слышно, как он в глубине комнаты начал что-то говорить по телефону. Любопытные девочки, оторвавшись от блюдец с чаем, тотчас повернули свои белесые головы в сторону двери, но мать остановила их.

Юсольцев тут же вернулся к скамейке у клумбы и, огладив обритую голову, согнав с нее лунный блик, сказал, что все сделано, и пришедшие, поблагодарив и еще раз извинясь за неожиданный приход, поднялись. Но Юсольцев не прощался с ними — чувствовалось, что домашняя обстановка обязывала его к чему-то такому, что в здании горсовета можно было не делать. Но что же именно — он, видимо, и сам сейчас не знал. Взглянув на веранду, на чайный стол с торчащими над ним косичками, он, как показалось, с неожиданным облегчением пригласил всех к чаю. Поблагодарив, все дружно отказались.

— У нас, как вы знаете, есть часы приема посетителей,— помедлив, начал Юсольцев, видимо, найдя то, чем можно будет закончить это домашнее посещение.— И все мы, горсоветчики, по очереди ведем его... И вот раньше бывало тайное соперничество: у кого посетителей больше бывает,— блеснув глазами, он поднял палец — самолюбие, понимаете! В этом году — другое, но тоже не без самолюбия: смотрим, к кому больше приходит посетителей не со своими личными, а, так сказать, с «чужими» делами... Поэтому я, с вашего разрешения, сегодня приплюсую к себе не одного,— Юсольцев с самым серьезным видом пересчитал присутствующих,— а целых... да целых девять таких посетителей!..

Кто-то улыбнулся, кто-то ответил, кто-то спросил, и зашел разговор о своих и не своих заботах.

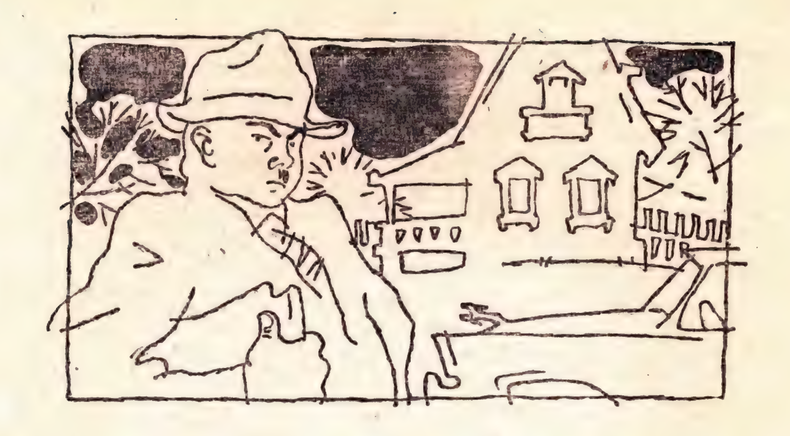
...Нетелов после «А вы?» пошел со всеми, как на привязи — пустой, отрешенный, со слабым где-то внутри себя голоском: «Ничего, ничего, вернусь...» Как на привязи, пришел и к чужому дому, потом — в сад, потом, как оглохший, стоял, когда этот автобазчик заговорил с человеком, остриженным наголо... И вдруг все сегодняшнее, все недавнее столпилось в нем и в чистом, в сильном свете, встал в памяти вагонный попутчик в дешевом стандартном плащике, встал в той ясной, покоряющей чистоте, которая помогла вчера отбиться от Олега, а сейчас вот в этом лунном саду приступила уже и к той долгой, тихой, но бесстыжей жажде, которая посадила его на поезд и повезла сюда...

И как только это почувствовал, он увидел легкий, великолепный завтрашний день — уже на пароходе, уже к Туапсе, уже к Ларисе... И конверт с синим кипарисом — их тут всюду продают,— в котором будет лежать бумажка с крестиком, адресованная этому бритоголовому от одного из девяти т а к и х посетителей.

Сквозь это, чечелевское, вдруг донесся тот голосок: «Ничего, ничего, вернусь...» Голосок был совсем уж слабый, замирающий, но мысли на миг приостановились, спрашивая кого-то: будет или не будет завтрашний великолепный день...

1961—62


ДВА
ДОЛГИХ
ДНЯ
ПОВЕСТЬ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВНИЗУ

1

В следственных материалах по делу Зыкова П. С. ничего не было сказано об Ужухове, и он сам, по понятным причинам, нигде не упоминал Зыкова. И только много позже, когда события пришли к концу, Ужухов рассказал, что первые сведения о фартовом сламе на станции М. он узнал от Зыкова. Они собирались работать вместе, но Зыков неожиданно — за одно из прошлых дел — погорел, и Ужухов стал действовать один.

Девятнадцатого августа утром он отправился с дачным поездом на станцию М.

Ужухов ехал без всего, ехал пока в разведку; поэтому он чувствовал себя, как все пассажиры,— скучновато, вяло, бездельно. Сперва ел мороженое, вытирая липкие пальцы о черные старые штаны; потом курил в тамбуре, поплевывая в открытую дверь вагона; затем, вернувшись на место, сонно смотрел в окно, как бегут подмосковные леса, кустарники, столбы, дачки... Вот на насыпи промелькнул мальчишка в розовой рубахе с удочкой в руках... Когда-то и он этим играл-баловался. Но недолго — война оторвала от детства, от школы, отправила из деревни в город к тетке

Глаше. Думали, тетка как тетка, ан особая оказалась!.. Эх, Аграфена Агафоновна, большую науку вы дали! Такому распрекрасному научили, что благодари, проклятую, в ноги падай, а все должок останется...

Опять пошел курить в тамбур. Дверь в соседний вагон была закрыта, и в верхней стеклянной половине ее он отразился, как в зеркале,— коренастый, с широкой шеей, с короткими руками. Вынул красный гребень и, сделав на минуту озабоченное и как бы значительное лицо — что делает каждый при причесывании, пригладил перед стеклом волосы. Но только поднес руку, чтоб и ворот на голубой рубахе поправить, как все исчезло — дверь со стеклом откатилась влево, и вошел чернобровый худощавый контролер с литыми тяжелыми щипцами в руках. И все вместе — и то, что зеркало он откатил, и то, что казенные ненавистные канты на его фуражке, на обшлагах...

— Явление пятое! — Ужухов зло хмыкнул, скривил губы.— Те же и Ефим с балалайкой!

И неохотно уступил контролеру дорогу.

— Граждане, предъявите билеты! — не отзываясь на вызов, возгласил этот, с кантами, и своей машинкой-щипцами пробив билет, спокойно прошел в вагон.

— Ходют тут!..

Это уж ему в спину, ни к чему, от бессилия... И вдруг позади:

— Контролеры настоящего юмора не понимают...

Обернулся и увидел, что в тамбур из соседнего вагона через ту же дверь вошел, виляя телом, какой-то шкет в голубых брюках не толще самоварной трубы. Ужухов не любил эту публику: сидят они по ресторанам, разъезжают с девчонками на машинах, бросают деньги туда-сюда, а в лагерь ни один не попадет — деньги-то у дармоедов папенькины!.. Но было с этими вихлявыми что-то и общее, родное — тоже понимают толк в легкой, фартовой жизни... Это-то, может, и злило.

— Ты чего? — угрожающе спросил Ужухов, подступая и напрягая подбородок, отчего лицо становилось квадратным.

— Я ничего...

Видно было, что пижон струхнул. С толстого, с сиреневыми подглазниками лица сошла снисходительная улыбка. И руку с золотыми часами приподнял, будто защищаясь.

— То-то...

И Ужухов ушел опять в вагон на свое место. Снова в окне — леса, кустарники, дачки. Чего вспылил — и сам не знал. Наверное, от контролерских кантов,— хоть и другие они, а насмотрелся за пять лет на это казенное украшение! Но перед глазами почему-то маячили и золотые часы вихлявого... Самое лучшее, конечно, не бить, а разуть бы милого! Как тогда...

И под шум поезда, под мелькание за окном вспомнил первые дни после амнистии. Первая работа на заводе, первые дружки по цеху и самое большое, самое прекрасное: хочу — туда еду, хочу — сюда иду, ни ограды, ни оклика — свобода... И дальше бы так — жить да жить... Да вот в одно воскресенье тоже вагон электрички, но полный, тесный — люди в тамбуре за косяки двери держатся. Тот тогда тоже за косяк — нога тут, рука тут, а сам за дверью на встречном ветру. Так бы все и обошлось, да вел себя карась нахально, подвинуться, видите ли, требовал — рука будто бы затекла, что за косяк держалась. Нет, конечно, не это, а то, что на этой самой натуженной, наполовину заголенной руке прямо перед глазами Ужухова — золотые часы на красивом коричневом ремешочке... И так ловко — кругом-то одни спины, все лицом в вагон стоят... Так и взял. Взял в открытую, только глазами в парня вкололся, как бы — выбирай: или не мешай мне, или лети под откос. Ведь стоит только чуть-чуть пальчики твои от косяка оттянуть — и кувырком на тот свет...

Мальчишкой еще плакат видел: стоит какой-то окосевший дядя с рюмкой, а под ним подпись: «Первую рюмку ты берешь, вторая — тебя хватает». Так и здесь получилось. На завод явился и так разнюнился, что даже решил часы и не загонять и себе не оставлять, но вскорости встретил Зыкова и «вторая» ухватила... Тот так расписал доходную дачку, что голова закружилась,— и легко и много... И вот Петьки Зыкова уже нет, одному надо действовать, а «вторая» не отпускает. Вот посадила на поезд, велела ехать...

2

Ужухов обошел дачу Пузыревских и слева и справа. Все сходилось с тем, что говорил Зыков. Дача стоит на отлете, последней в ряду, и к ней два подхода: слева — узким, только разойтись, переулком, ведущим к колодцу,

и второй подход — справа, со стороны жиденькой рощицы, за которой шло строительство уже новых дач.

Начал с этого подхода. Несколько раз кругами, смотря в землю, будто ища грибы или запоздалую землянику, прошелся по роще. То хворостиной, то ногой шевелил траву; то шел, то присаживался... Конечно, ничего, кроме окурков и бумажек, в этой истоптанной рощице не было; скашивая глаза, разглядел у Пузыревских обычную дачную дурь: беззащитные окна первого этажа, чуть живая дверь на веранду и пудовые замки и засовы на черном, но который на дачах считают главным входом...

Сейчас занимало не это. По зыковскому плану, вся надежда была на старуху — мать самого Пузыревского, обычно не выходящую из дома. К ней же надо идти не как домушник — через щель, а в открытую, не таясь, ибо она должна показать, где лежит то, за чем он придет. Но когда идти? Когда она будет одна — вот в чем дело...

На станции прокричал паровоз, и долго было слышно, как за дачами, за лесом бежали перестукивая товарные вагоны. Потом, видимо навстречу, с ровным гулом прошла электричка... Дурацкое это дело — смотреть с улицы на дом: ты никого не видишь, а из темных окон, может быть, за тобой следят — какие такие грибы-ягоды ищет дядя в захоженной, затоптанной роще...

Ужухов посмотрел на солнце и, будто собираясь уходить, отряхнул у колен штаны, огляделся и пошел в сторону новых строящихся дач. Так-то оно и лучше: если за ним в окно следили, то примут за плотника или печника, который приходил со строительства в обеденный перерыв.

По глубоким колеям, оставшимся, видимо, с весны, когда возили тут лес, он вышел к срубам, около которых было светло, желто. От лежащей вокруг щепы пахло смолой. Трое рабочих около ближайшего сруба, несмотря на летний день одетые в ватники, сосновыми колами выкатывали из кучи толстое бревно. Ужухов отошел в сторону, лег в тень куста и закурил... Нет, надо на дачку еще с другого подхода, от колодца, взглянуть. Но не сейчас, а обождав. А еще лучше, чтобы на глаза не попадаться, зайти к колодцу со стороны закусочной, то есть в тыл дачи. Только вспомнил это заведение, почувствовал голод: «Ну вот и хорошо — по дороге закушу». Бросил папиросу, поднялся, но тут его окликнули:

— Эй, орел, не подсобишь ли?

Эти трое в ватниках все возились с бревном, не могли его выкрутить из кучи. Что ж — подошел.

— Ты возьми вон кол! — сказал один из плотников с толстыми добрыми щеками.— Нашего четвертого нет, пошел за водой, да, наверное, не ту воду выпил, а с белой головкой.

Двое других не отозвались на шутку, только, придержав свои сосновые колы, как-то мечтательно посмотрели в сторону станции. Кол, который взял Ужухов, был весь в тонкой и шелушащейся золотой пленке, покрывавшей кору, она даже чуть звенела в ладонях. Вчетвером, натужась, они вывернули толстое, длинное, семивершковое бревно и теми же колами-рычагами покатили его по слегам к срубу.

— Налево кантуй! Налево! — услышал Ужухов позади себя окрик.

Оглянулся и заметил рядом черноусого в белом фартуке плотника — красавца, как на плакатах рисуют. По тому, что он в руке держал цинковое ведро с водой, Ужухов догадался — это пришел тот, четвертый. Что ж, он тут будет стоять да командовать, а ты за него работай!..

— Нет, дядя с усами, ты уж сам тут кантуй! — ухмыляясь сказал Ужухов, передавая ему кол и отходя.— А у меня тоже дела есть.

Вытерев руки, к которым пристала золотая пленка, о штаны, он зашагал к закусочной. Да, у него тоже дела есть...

3

Он и раньше за собой замечал: о каком-нибудь пустяке долго соображает. В сельской школе, когда учился, его тугодумом звали, с годами он, конечно, бойчее стал — такая жизнь была, что очень-то не зазеваешься,— однако время от времени маху давал... Вот и теперь: зачем этим плотникам на глаза показывался! Пройти бы мимо — и все. А тут ворочал с ними бревна — могли в лицо запомнить... Мерещился даже какой-то будущий день: «Вы этого человека видели неподалеку от дачи Пузыревских?» И тот, красавчик с плаката,— почему-то представлялся именно он — отвечает: «Да, товарищ следователь, этого самого».

Это натолкнуло на мысль в закусочную не заходить. Ведь Серафима, которая на даче Пузыревских была дом-

работницей, теперь, с этой весны, работала в закусочной судомойкой... Знаком с ней был не он, а Зыков, и не ему, а Зыкову она рассказывала, что хозяева «богато живут, а еще больше от глаз хоронят». Видел эту Серафиму только раз и мельком, но бабы памятливы.

Вернувшись к станции, прошел мимо закусочной, повернул вправо, к рыночной площади, и тут, оглядевшись, заметил врезанный в голубой забор ларек с пивом.

На мокрую и грязную доску перед окошком ларька положил смятую в кармане булку, потребовал кружку пива и два кубика плавленого сыра. Толстым пальцем с коротким ногтем осторожно снимал серебряную кожуру, но она плохо поддавалась, и на сыре от пальцев оставались темные следы. Освободив от обертки, положил сыр на ту же осклизлую доску-подоконник. Он был не брезглив, но теток, процветающих на пивной пене, не любил.

— Вытирать, мамаша, тут нужно! — сказал он.— Как в хлеву!.. Да и то в теперешних хлевах, говорят, чище!

Молодая, но раздобревшая женщина, нагнув голову, чуть высунулась из своего окошка, и он увидел голубые, пустые, привыкшие ко всему глаза. Потом в окошко нехотя просунулась рука с мокрой тряпкой, поелозила по доске — Ужухов на минутку приподнял свой сыр и булку — и скрылась.

«Не Серафима ли это?»

Было что-то похожее в лице. «Может, ларек от закусочной работает?..» Но отогнал мысль — пуганая ворона и куста боится. Ведь если бы это была она и она его узнала, то спросила бы про Зыкова — ведь любовь крутили...

Расплатился и пошел к даче Пузыревских, но уже другой дорогой, забирая влево, чтобы незаметно выйти к тыльной стороне дачи, где был ход к колодцу.

Солнце шло за полдень, тени все еще были укорочены, и везде было жарко. Но на дачах, мимо которых проходил Ужухов, жизнь продолжалась: по участкам бегали дети; женщины подвязывали на клумбах цветы, копались на грядках; мужчины, развалившись в гамаках, читали газеты, один сдуру, несмотря на жару, подтягивался и кувыркался на самодельном турнике...

«Делать нечего — воздухом дышать приехали!»

Ужухов кривил губы — нет, достанься ему такое добро, он бы траву ниточкой не подвязывал и не таскался бы за город, чтоб воздухом дышать — будто его и в городе

мало,— а совсем по-другому распорядился. Не жизнь у него, а игрушка была бы...

Только одну хозяйку он одобрил: какая-то высокая худощавая старуха рогатинами подпирала тяжелые, полные плодов, ветки яблони. Здоровые, в кулак, августовские яблоки уже просились упасть, да пусть еще повисят, пусть еще поболее нальются. Ужухов окинул взглядом это дерево и другие деревья в саду — такие же полные и тяжелые.

«Вот эта бабушка мозгами шевелит! Даже если плохо-плохо по рублю за яблочко, то столько загребет!..»

* * *

Показалась желтая дача Пузыревских. Ужухов пошел медленно, всматриваясь в дачу, а когда свернул влево, в узкий проход, ведущий к колодцу, то все косился на нее. И вел взглядом по низу дачи, будто подрезал ее.

Так и есть! В дощатой обшивке подполья с этой стороны дома была не замеченная им ранее низкая дверца на щеколде, ведущая в подпол. Ужухов сразу представил, что́ именно в этих потемках: кирпичные столбы, держащие на себе дачу, между ними — стоящее на земле основание печи. Вот и все, если не считать всякого хлама, вроде лопат, граблей, старых лукошек и корзин, которые обычно сюда забрасывают...

С веранды послышался шум.

«Вот и живые!»

По ступенькам легкой походкой сошла невысокая, лет тридцати пяти, худенькая женщина в белом платье. В одной ее руке был плетеный стул, в другой — книга. Ужухов затаился.

Не полагаясь на быстрое соображение, он, еще идя от пивного ларька, подумал о том, что, может быть, придется постоять у дачи. Но не дуриком, конечно, пяля вовсю глаза! Навели на мысль глинистые, не просохшие еще от ночного дождя тропинки и дорожки.

Он поднял с земли щепочку и, прислонясь к дереву, стал не торопясь соскабливать приставшую к подметке рыжую глину.

...Женщина, устроившись в тени дерева, читала, держа книгу на отлете, и Ужухову казалось, что она больше всех других дачников выставляется: те хоть в цветах копошатся или на турнике крутятся, а я вот, смотрите, со-

всем ничего не делаю — читаю... Его всегда воротило от этих читальщиков: едут в метро — читают, едут в поезде — опять нос в бумагу. А что толку! Уж если есть у тебя свободное время — поспи или закуси...

Да и сама она ему не понравилась — с лица ничего, а так поглядеть не на что... Тонкая как струнка...

Почистив щепкой один ботинок, Ужухов поднял другую ногу. Женщина все читала, в доме была тишина; из-под веранды выскочил петух и, пригнув голову, погнался за курицей; ветер пошевеливал пару лилового белья, висящего на веревке... Ужухов обчистил и второй ботинок, а из дома больше никто не показывался. Тут со стороны соседней дачи послышалось повизгиванье ведерных дужек — кто-то шел к колодцу. Ужухов бросил щепку и хотел поскорее уйти, но потом спохватился: а зачем, разве кто догадывается, почему он тут? И прежде чем уйти, не спеша, поворачивая ступню то левым, то правым боком, вытер ноги о траву. Тут открылось одно из окошек дачи Пузыревских, и кто-то крикнул:

— Пшено где? Куда переложила?

Скосив глаза, Ужухов увидел в окне старуху с серым лицом, с обвисшими щеками.

— В шкафике, мама, внизу,— ответила женщина, посмотрев поверх книги.

«Она!» — подумал он, и что-то смутное, тревожное, которое будет впереди, представилось сейчас. И он понял, что все это время, пока орудовал щепочкой, ждал не кого-нибудь, а ее, эту старуху...

И, идя к станции, все почему-то повторял про себя — без смысла, без толку: «Пшено где, пшено где...» На станции — тоже ни к чему — подумал: «Кашу варят... По их средствам можно было бы чего повкуснее...»

* * *

На станцию М. к желтой даче он ездил и еще раз. Все подтвердилось, что говорил Зыков: Пузыревских трое, квартирантов нет, собак не держат. Видел самого — мужчина рослый, осанистый, однако барина из себя не корчит: он и с лопатой в огороде, и с ведрами на колодец, и топором калитку осаживал. Впрочем, его *тогда* не будет... А *она*, понятно, сырая, рыхлая — такую только припугни...

И по фундаменту, по подполью еще раз глазами про-

шел. Заметных щелей не было, а если глядеть с той стороны — из темноты, то, конечно, найдутся. Кроме того, и из самой дверцы будет видна калитка: кто ушел, кто пришел.

И пока щупал все это глазами, примеривался, вдруг увидел себя уже лежащим там, за низкой дощатой дверкой, под полом. Над головой ходят, пыль сыплется... А когда все кончится — ищи-свищи! — согнувшись в три погибели, сюда влезет агент, обнюхает и скажет: «Лежка была». Как у тюленя или медведя! И начнет шуровать вокруг — огрызки, обкуски, обрывки с земли поднимать. Нет, милый, не надейся — ничего не оставлю...

И Ужухов стал готовиться.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НАВЕРХУ

1

Есть семьи, на которых соседи смотрят и не нарадуются,— как хорошо, как счастливо люди живут.

И верно: муж занимает приличную должность, вовремя возвращается с работы; жена всегда дома, хлопочет по хозяйству, приветлива, хорошо одета... Кроме того, небольшая, но собственная дача, «Волга», холодильник, телевизор, осенью ездят на юг... Живут люди, как говорится, в свое удовольствие. Да еще бабушка — мать мужа — и помощница по хозяйству, и домохранительница, и у самовара — добрая уютная улыбка.

Такой счастливой семьей и были для соседей Пузыревские. Но только для соседей.

Брак Федора Трофимовича с Надеждой Львовной можно было бы назвать удивительным и непонятным, если бы не было объяснений к нему. Он совершился в тяжелую годину войны, когда нормальная жизнь была нарушена. Как в это нарушенное, необычное время люди, не найдя сахара, покупали сахарин, не найдя материи, шили платья и штаны из штор и бильярдного сукна, так порой и браки в это время совершались не по влечению сердца, а из-за

других, более, так сказать, существенных, настоятельных соображений.

Федор Трофимович и Надежда Львовна встретились в сорок первом году в эвакуации в городе К.

Он заведовал клубом на одном подмосковном заводе и вместе с ним переехал сюда, на восток. Город К. был уже переполнен. Эвакуированный завод разместился в недостроенном театре, клубу же не нашлось места, и Федор Трофимович носился по городу в поисках хоть какого-нибудь помещения. Так он набежал на местный Дом печати.

В двух нижних этажах холодного, неотапливаемого дома, согреваясь печурками, ворочались типография и редакция одной эвакуированной газеты, а верхний этаж со зрительным залом и клубными комнатами стоял продрогший, заиндевелый. Вот на него-то и нацелился Федор Трофимович — раз пустует, надо взять. Он расхаживал по промерзшему, как бы чугунному, паркету зала и качал головой: взять-то взять, а что с ним потом делать? Неспущенная вода в отопительных батареях замерзла и порвала трубы. Если все менять, чинить, то и зима пройдет...

Пока ходил по студеному залу, раздумывал, постукивал по окаменевшему отоплению, продрог больше, чем на улице. И вдруг толкнул какую-то дверцу — и сразу теплым-тепло.

— Вот благодать-то!..— невольно воскликнул он.

Это была библиотека — полки с книгами, и две женщины около чугунной, пышущей жаром печки.

— Закрывайте! Закрывайте! Откуда вы пришли?

И библиотекарши — одна пожилая, другая молоденькая — замахали на него руками, будто он открыл дверь на улицу. Они объяснили, что эта дверь закрыта, что в библиотеку надо входить по другой лестнице. Оглядели вошедшего — человека молодого, но дородного, в белых с отворотами дорогих бурках, которые любили носить хозяйственники,— и у них появилось на лицах озабоченно-просительное выражение: может быть, это новый комендант, администратор, директор, у которого можно что-нибудь попросить для библиотеки, зимующей, как на полюсе, среди необитаемых просторов третьего этажа.

Но нет, оказалось, к дому вошедший не имеет отношения и — наоборот — сам хочет что-то попросить.

Федор Трофимович рассказал о бедственном положении завода: бог с ними, с хоровыми, шахматными и прочи-

ми кружками, с балалайками и плясками,— на время войны можно с этим подождать, но вот рабочим негде собраться, чтобы о труде, о производстве потолковать. И он сам тоже хорош: завклубом без клуба...

И то ли откровенность Федора Трофимовича, то ли добрая женская жалость, но библиотекарши приняли к сердцу его положение, стали обсуждать, советовать. Особенно молоденькая, тоненькая — пожилая звала ее Надей.

— А что, если вам печки, как у нас, по залу расставить? — говорила она.— Может, и четырех хватит?

— Ну что вы!

Федор Трофимович вспомнил, какой белоколонный был зал в их подмосковном клубе, и вдруг эти простецкие, барачные печки!

— Ну тогда электрические плитки. Много-много...

Тут уж и старая библиотекарша рассмеялась: этими-то крошками да прогреть такой залище! И Надя, и Федор Трофимович тоже улыбнулись. В общем оживлении она посмотрела на него как-то особо — не то кокетливо, не то пристально. Секунда какая-нибудь, а Федор вдруг почувствовал себя легко, хорошо...

За шкафами послышались голоса — пришли посетители, и Надя пошла к ним.

...Через день он опять пришел в холодный зал. Расхаживал в своих белых бурках из конца в конец, мерял зал шагами. А что, если действительно по углам поставить четыре печки, как о н а говорила! Дымоходные трубы на заводе в пять минут сколотят, а вот куда их вывести наружу, чтоб поменьше этого украшения в зале было... И он расхаживал, мерял. Он расхаживал, мерял и все ждал, что шаги его будут услышаны, откроется дверь в теплым-тепло, и тут же возглас: «Ах, это вы!» И тот же взгляд, улыбка...

Но дверь не открывалась, и Федор, потоптавшись, сделав на лице озабоченно-деловое выражение, сам открыл ее. Извинившись, что опять пришел не с того хода, он сказал:

— А я знаете, все же решил хлопотать об этом зале. Может, и в самом деле, если печки поставить...

Пришел он очень удачно: у Нади кончилась работа, она уже была в синей шубке и в черной маленькой меховой шапочке — будто девочка-школьница. Вышли из дома вместе.

По дороге разговорились. Нет, оказалось, совсем не школьница (и не Надя, а Надежда Львовна), сама препо-

дает историю, но война раскидала учеников, и вот — в библиотеке. Отец на фронте, приехала в К. с матерью и хоть одиноко без папы, хоть живут, как эвакуированные, за занавеской, все же не унывают, по вечерам собираются московские и местные знакомые и — стыдно сказать — заводят патефон, играют в шарады...

Он тоже о себе рассказал. Несмотря на свои двадцать девять лет, чем он только не занимался! Был и электромонтером, и завгаражом, и работал по мясохолодильному делу, был и по хозяйственной части в одном театре.

— Теперь вот завклубом на большом заводе. Но все это не то! — добавил он.— Есть у меня одна думка, которая тянет...

Она деликатно не спросила, что это за думка, но выжидающе взглянула на него ясными, девичьими глазами. И когда он не ответил, она спросила про родных. Отца Федор смутно помнил — давно умер, а мать отправил в Ташкент к родственникам. И он заговорил о матери.

В своих франтоватых бурках он вышагивал рядом с ней по заснеженному, неубираемому тротуару, слушал, говорил сам, а думал о том, что вот сейчас, внезапно, будет ее дом, она уйдет, исчезнет, и он останется один на тротуаре...

Так и случилось. Надя протянула руку, поблагодарила и ушла в какое-то темное парадное.

2

Как все хорошо, по-человечески начиналось! Видимо, даже у разных натур зарождение любви одинаково, как при жажде вода — для всех вода.

...Да, скрылась за темной дверью, но была исконная, освященная веками тропка: надо искать встреч.

Выручили те же печки — ее печки... Милые!

Сперва он думал принести в зал какое-нибудь железо и начать стучать, громыхать — уж на шум-то эти затворницы откроют свою неоткрываемую дверь! Потом понял — просто одурел: зал еще не передан, а он уже тут грохает. Да потом какой разговор при старой библиотекарше! Нет, надо перехватить Надю на улице.

Узнав, когда она кончает в библиотеке работу, он выбрал против Дома печати — это оказалось окно аптеки — удобное место наблюдения. И как только она вышла из дома, он к ней навстречу.

— А я, знаете, к вам шел... то есть в библиотеку. Хо-

чу взглянуть, где дымоход от котельной проходит. Ведь тогда трубы от печек можно прямо в дымоход... Вы, Надежда Львовна, не знаете, случаем, котельная не в вашей секции?

Ну, конечно, она не знала, где котельная. Вздохнув сожалительно — не очень уж сожалительно! — он пошел рядом, объяснив, что потом вернется в дом...

С этого дня они стали встречаться.

...Они стали встречаться, но Надя не придала этому никакого значения. Она была недурна собой, неглупа, играла на рояле, много читала, и около нее со школьных лет группировались и подруги и товарищи.

И сейчас, несмотря на эвакуацию, на жизнь в чужом городе, у Нади по вечерам собирались люди. Тут была и бывшая однокурсница по педагогическому институту, которая тоже очутилась в К., и новая знакомая по Дому печати, и молоденькая соседка по квартире. Были, конечно, и молодые люди — знакомые по работе или по долгой и хлопотной дороге из Москвы до К.

Собирались, говорили о войне, о прочитанных книгах, об увиденных спектаклях и фильмах, иногда заводили патефон или играли в шарады. Образовался тот обычно-интеллигентный уровень разговоров, споров, игр, отношений, когда люди стараются обнаружить ум, знания, тонкость понимания. Тут, понятно, не было никаких глубин и взлетов мысли, но установились те легкие, приятные отношения, когда люди понимают друг друга с полуслова.

И вот в эту компанию вступил Федор.

Когда говорили о «Петре Первом» Толстого, о Пристли, пьеса которого «Опасный поворот» появилась в канун войны, он, сидя на краю дивана, уже у занавески, помалкивал. То же самое было во время споров: какая жизнь будет после войны, какая разница между культурным и образованным человеком, вернется ли архитектура Корбюзье, есть ли объективное познание мира и так далее.

Федор слушал спорщиков молча, то внимательно — морща лоб, то поводя черной бровью — недоверчиво, то явно скучая — тогда брал в руки со стола какую-нибудь штуку и начинал ее развинчивать и свинчивать. Он делал вид, что все это ему уже известно, что где-то это уже отспорено, что истина уже установлена. Или же его взгляд говорил: «Да, это мне неизвестно, но я такой чепухи и знать не хочу! Для жизни это не имеет значения!»

Среди присутствующих он выделял двоих, явно ухаживающих за Надей: худого, длинного Чернышева, который говорил, что он заводской техник-конструктор, но больше всего распространялся о философии, о живописи, о каком-то импрессионизме; и Юру Кирюшина — белесенького, жидкого, в большом количестве (даже нагоняя сон) читавшего наизусть стихи. Служил он у одного важного лица референтом. Что это значит, Федор не знал, но видел, что должностью своей Кирюшин задается.

Неизвестно, как бы пошли отношения между устроителем печек в холодном зале и хранительницей книг в Доме печати, если бы не эти личности, вставшие на пути. Нельзя сказать, что Федор Трофимович любил препятствия, но он был самолюбив, завистлив, и если он видел, что кто-то чего-то добивается, то, во-первых, начинал верить — это желаемое действительно ценно и стоит того, чтобы его добивались; а во-вторых, у него тотчас появлялась охота растолкать всех локтями и прийти первым.

Так он решил действовать и тут. Но как?

Он видел, что Надя внимала и этому самому импрессионизму, и стихам, которые нагоняли сон, и это ему было не по плечу. Он не только никакого Корбюзье не знал, но однажды в разговоре так легко и просто сболтнул «про́цент» и «мага́зин», что этот белесенький, хлюпенький Кирюшин взглянул на него с обидным любопытством.

Тогда он стал действовать по способу пылких влюбленных: раньше приходил, позже всех уходил, говорил о чувстве, которое... В эти часы он был один, и Надя невольно слушала только его. Однако слушала она плохо.

3

Да, слушала она его плохо. И, по правде сказать, не понимала, почему Федор Трофимович проявляет такое рвение. Правда, он ее несколько раз проводил до дому, она пригласила его заходить — вот и все. И в Москве так было заведено: ходят в дом разные люди, говорят, спорят, отправляются ватагой в кино или на каток. Может быть, кто-то нравится или кто-то ухаживает, но все это как-то не по-серьезному — больше просто товарищеские отношения...

Но Елена Николаевна, мать Нади, которая тихой мышкой, неслышно присутствовала при их сборищах, сказала как-то:

— Этот вот крупный, в бурках... ну, Федор... я чувствую, имеет какие-то виды.

...И был день, который Надя потом не раз вспоминала. Компанией шли из кино. Федор Трофимович говорил громко, махал руками — у него была новость: зал в Доме печати, несмотря на хлопоты, ему не дали (сами печатники решили вдохнуть в него жизнь), но вдруг на набережной он отыскал какой-то барак, который до войны не успели сломать. Тут уж никто не будет препятствовать — стучи, наколачивай.

Потому, что Федор был оживлен, все взоры были обращены на него. И ее — тоже.

И тут Надя вспомнила мамино «имеет виды». Она мысленно представила, что вдруг не кто другой, а именно вот этот человек будет ее мужем... Это было так дико, нелепо, да нет — ужасно, что ее даже передернуло. Будто до чего-то дотронулась.

— Ты что? — спросила идущая рядом подруга.— Озябла?

— Да, как-то...— И Надя поежилась не то от э т о г о, не то от холода.

Казалось бы: почему же? Он был человек как человек — статен, румян, даже красив. Но хотя между встречей в библиотеке («Закрывайте дверь! Закрывайте! Откуда вы пришли?») и маминым «имеет виды» прошло немного времени, Надя почувствовала главное: чужой. Бог с ними, с Корбюзье и стихами, но и все остальное, что ей было родным, близким и понятным с полуслова, ему надо было растолковывать. И она как-то — с неловкостью, даже с обидой за Федора Трофимовича — сравнила это с роялем, где вместо струн были бы натянуты пеньковые веревки, которые здорово надо дергать, чтобы они издали звук.

* * *

У натур деятельных, как у Федора, всякая неудача, задержка вызывают еще большее стремление достигнуть цели. Сама же цель — как обычно бывает в этих случаях — становится еще более желанной.

Но тут Федор не знал, что делать. Он видел, что его ранние приходы и поздние уходы, его объяснения ничего не приносят. Надя была с ним любезна, но явно скучала.

Но как-то все случилось само собой.

...Однажды Надя подошла к большому дивану, где обычно располагались все пришедшие, и сказала:

— Пойдемте к столу... Будет чай! Можете себе представить!

Да, это было удивительно. В город К. перед войной завезли огромное количество натурального кофе, и его пили и так и сяк, а чай не продавали даже по карточкам. Кроме того, на столе было великолепное угощение: ломтики черного хлеба, поджаренного на хлопковом масле.

Однако, когда все сели за стол, электрическая плитка, на которой вскипал чайник, вспыхнув и озарив голубое дно чайника, потухла.

Тихая мышка — Елена Николаевна — вынула из седых волос шпильку и где-то, в известном ей месте, попридержала потемневшую спираль. Из-под шпильки вылетела зеленая искра, и спираль закраснелась, засветилась. Однако тут же и опять потухла. Как дальше старушка ни орудовала шпилькой, плитка не зажигалась. Кто-то из гостей предложил встряхнуть плитку.

— А мне говорили, что надо карандашом,— сказал Кирюшин.— Графит... не проводит ток. Позвольте, я...

Он бойко всунул острие карандаша в спираль, она заалела — все обрадовались,— но когда он хотел вынуть карандаш, спираль зажала графит, и Кирюшин выхватил ее из плитки. Извиваясь, как живая, спираль по-змеиному вертела из стороны в сторону острый конец — кого бы укусить. Все подались назад. Кирюшин отскочил, перевернув стул.

— Минуточку! Минуточку!

Федор не спеша подошел к розетке, вынул штепсель и подхватил тряпкой безопасную теперь спираль. Дав ей остынуть, он соединил спираль с контактом и быстро разложил ее в круговые прорези плитки. Воткнул штепсель, и плитка осветилась ровным, спокойным накалом.

Чайник докипел, и все сели за стол.

Как-то Надя закрывала, досадливо пристукивала форточку, а та — подлая — все отходила. Решила, что она набухла, и оставила ее в покое. Подошел Федор, провел пальцем — только пальцем — по форточному просвету, сбросил тонкие льдышки, и форточка закрылась. В другой раз спросил у Елены Николаевны, нет ли у нее талонов на водку,— у них на заводе такую знатную дают. И верно: принес зеленый армянский «Тархун», который на базаре осо-

бенно ценился. А то однажды по-простому взял да дров наколол. Пришел засветло и отмахал поленьев тридцать...

Потом то, потом это,— в доме все время требовались умелые руки. И пошло: «Федор Трофимович, вы не могли бы...» Или: «Федор Трофимович, вы не сделали бы...» И он мог, и он делал.

Уехал как-то на неделю в район — тес для клуба принимать,— так в доме все разладилось: вместо сливочного масла получили по карточкам какой-то неаппетитный комбижир; у знаменитого дивана, где все собирались, треснула и стала отходить спинка, и туда теперь заваливалась всякая мелочь; покрепчали морозы, из-под пола стало дуть; смешно сказать — у Нади в самых лучших туфлях вылез на пятке гвоздь, и никак и ничем его, противного, нельзя было забить...

А приехал Федор через неделю, словно спаситель явился! И масло, и диван, и пол, и все другое... Ну и, конечно, несносный гвоздь — одним махом.

Эффектнее всего с диваном получилось. В один из вечеров философы, как обычно, сидели на диване (только неслышная Елена Николаевна мимоходным шепотом: «На спинку не очень, не очень! Трещит!») и рассуждали о своих «быть или не быть». И вдруг дверь открывается и — Федор Трофимович, неделю отсутствовавший... После всяких расспросов и спросов — сюда же, на диван, к занавеске. И опять в безвестность, в молчание — слушать, что умные люди говорят. А они действительно о мудреном заговорили. Худой угрюмый Чернышев доказывал, что, несмотря на то, что «Поэтике» Аристотеля двадцать два века, она жива до сих пор; Кирюшин же, размахивая бледными руками, говорил, что она уже «не звучит»...

Кирюшин был немощен и легок телом, но в споре преображался: вскидывал подбородок и жесты — решительные, смелые. И вот тут тоже: вскочил, оперся картинно на спинку дивана и только собрался пуститься во мрак двадцати двух веков, как раздался треск.

— О, господи! — воскликнула тихая Елена Николаевна и, борясь с вежливостью хозяйки, все же добавила: — Я же предупреждала!..

Тотчас все встали с дивана, и как-то само собой дальнейшее перешло к Федору Трофимовичу. Ему помогли отодвинуть диван, дали в руки молоток, гвозди. Федор присел на корточки.

— Тут уж кто-то вбивал! — сказал он, рассматривая низ спинки.

Ему объяснили, что в его отсутствие это пытались сделать и Кирюшин, и Чернышев.

— Чудно́! — Федор покачал головой.— Гвозди-то мимо прошли. И не здесь надо было...

И принялся за дело. Он командовал: держать, отпустить, подать, принять... Все помогали ему, слушались — Аристотель отправился обратно в глубь веков, а вот сейчас главным, нужным был человек с молотком в руках...

4

В жизни Нади был день, когда она не могла даже представить себя женой Федора Трофимовича. И был другой день, когда этот первый день как-то забылся, отошел...

Самые неожиданные поступки могут иметь объяснения.

Надя, несмотря на свои двадцать лет, никого еще не любила, хотя некоторые ей и нравились. Она принадлежала к тому довольно распространенному типу женщин, которых покоряет любовь к ним. Этому способствует многое: сознание, что ты кому-то нужна, неуверенность в том, что встретишь его, желание иметь семью, боязнь одиночества и, особенно, потребность любви. Вот поэтому ощущение «он меня любит» создает иллюзию чего-то настоящего, которым надо дорожить.

Так было и тут.

Пока Федор был в числе приятелей, по-мальчишески ухаживающих, Надя принимала это; когда же она мысленно представила, что он вдруг будет мужем,— ее ужаснуло, ибо она поняла, что он чужой ей. Казалось бы, все ясно — ничего не состоится.

Но Федор проявил упорство в своем стремлении, он продолжал твердить о своем чувстве и наконец сделал предложение. И тут вошло в действие упомянутое «он меня любит», и чужеродность Федора стала куда менее ощутимой — рояль с натянутыми веревками ей уже более не вспоминался. Она многое прощала, многое старалась не замечать, а то и просто не видела...

Но было и еще. Может быть, самое главное. Все подвиги Федора по бытоустройству — все эти простецкие плитки, форточки, диваны, «Тархуны», гвозди, дрова и так далее,— совершенные им в трудное время, в чужом городе,

по-житейски, по-простому, говорили о том, что жизнь с Федором будет удобной, легкой — жизнью под крылом.

Возможно, это соображение не пришло бы к Наде, если бы было мирное время, если бы она жила дома, если бы дома был отец... Оно пришло еще и потому, что рядом — как бы для сравнения — находились два человека, тоже могущие стать спутниками жизни. Но какими? Ничего, кроме умных разговоров на диване. Это в теперешнее-то время!..

И будущая жизнь с Федором показалась Наде такой настоящей, основательной, именно той, которую женщина должна выбрать. Нет, у нее будет своя профессия, свой труд, но в случае непогоды еще и крыло — поддержка, помощь...

И брак совершился.

* * *

Федора точно живой водой спрыснуло. И так-то был работящий, а теперь, после женитьбы, такую деятельность развил, что будто ни войны, ни эвакуации, ни всяких карточек.

А начал с занавески. К чему этот ситцевый полог, отгораживающий комнату от прихожей! Нет, он сделает по-настоящему — поставит перегородку. И верно: явились рабочие из клуба и за две буханки хлеба и четвертинку водки сколотили тесовую перегородку с дверью. Потом Федор принес несколько кусков бордовых обоев с большими зелеными розами и оклеил ими перегородку. Стало в комнате тише, уютнее, и Елена Николаевна с Надей — что женщины ужасно любят — стали переставлять в комнате: это теперь туда, а это теперь сюда... Только старушка косилась на обойные розы — они могли быть и помельче, и потом — почему зеленые, как капуста?

Затем Федор подкупил дров, достал по ордеру, задешево, для Нади козью шубку, а как-то, сияя, принес вещь крайне редкостную в хозяйстве: примус со счетверенной горелкой, очень удобный для кипячения баков с бельем. Был примус не новый, достал его Федор у знакомого кладовщика на авиационном складе (такими примусами разогревают зимой авиамоторы) и два вечера, завесившись фартуком, чинил, паял его, пока он, не став на пол на свои черные коренастые ножки, не загудел всеми четырьмя горелками — мощно, величественно.

Елена Николаевна похаживала около этого счетверенного рычащего чуда, прижав руки к груди.

— Господи!.. Он нас тут всех спалит... Но для белья, конечно... — Она обернула к Федору лицо, полосато-голубое от бешеного пламени.— Помню, в Париже, я девушкой с папой ездила, видела на одной технической выставке модель действующего вулкана. Так страшно, помню, было...

Довольный, оживленный от своих забот о двух женщинах, видящих, что труды его нравятся, ценятся ими, Федор однажды — принести что-нибудь в дом было для него сущим праздником — извлек из кармана кожаного пальто пузырек, отливающий перламутром. В нем оказалась разведенная золотая краска. Жесткой кисточкой он позолотил ручку у перегородочной двери, черные ножки у своего могучего примуса, шпингалеты на окнах...

Нет, это был совсем уж не Париж, и Елена Николаевна, вздохнув, переглянулась с дочерью. Федор уже намеревался провести золотой бордюрчик вдоль подоконника, когда Надя остановила его:

— Не надо, Федя... Ну, понимаешь, не нужно...

Он обернулся к ней весь — рослый, голубоглазый, простодушный, с кисточкой в руке.

— Так ведь краска-то золотая! Красиво!..

...Этот день позолочения Надя потом, много лет спустя, часто вспоминала — да, тогда выручило милое женское всепрощение: «Ну так человека воспитали — вот и все!» Но было другое, о чем Надя не знала и которое тоже произошло в это время и, если вдуматься, было чем-то сродни позолоченным шпингалетам.

Дело в том, что тес, из которого была сделана перегородка, оказался особым. Он о с т а л с я от клубного ремонта, и Федор в з я л его себе. Правда, было на душе как-то неловко, но ведь что же тут такого — никого не обидел... Но прошло время, и это стало разрастаться: из зернышка — росток, из ростка — листок...

...Да, года шли за годами, и давно было забыто и эвакуационное житье, и первые годы после войны, когда Федор, оставив невидное занятие — заведование клубом, исполнил свое давнишнее желание: перешел в торговую сеть.

Еще в первые дни знакомства с Надей, провожая ее от студеного Дома печати до комнатки за занавеской, он как-то сказал ей: «Думку одну имею». И вот думка эта

осуществилась: две витрины, зеленая вывеска с белыми буквами «Фрукты-овощи», несколько продавцов, кассирша, ящики и полки с товаром, а позади всего — фанерный кабинетик с окошком, выходящим на двор.

Но и это тоже прошло. Желание исполнилось — стоял у торговой сети,— но, оказывается, не каждая сеть что-нибудь приносит. После фруктов и овощей дали заведовать минеральными водами (совсем уж пусто), за ними — тоже тихие — книги, бумага, всякая канцелярская снасть...

И вдруг — мебель! Кабинетик у заведующего, как ни странно, тоже фанерный и тоже с окошком на двор, но живой, шумный. Один пришел, другой ушел, один просит, другой обещает, третий уже спасибо говорит... Но оказалось, главное-то не здесь шло, а около всяких сервантов, шифоньеров, туалетов, гарнитуров... Вот там-то сеть была так сеть... А заведующему от продавцов, от грузчиков, в сущности, одна мелкая рыбешка доставалась. Не дело, не порядок, конечно, но к лучшему вышло — по прошествии времени на самих рыбаков сеть была наброшена, а заведующий уцелел, лишь перевели на другой товар — на головные уборы.

Место тихое, а если разобраться, то перевели Федора сюда в назидание и в наказание: интереса от торговли никакого, а хлопот и поношений сколько угодно! Еще бы — зимой на полках белые кепки и соломенные шляпы, а к лету наконец-то приходят меховые слежавшиеся ушанки с рыжими тесемками. От покупательской хулы хоть в подвал залезай! Одно только интересное дело и было, когда вдруг завезли меховые шапки под чудным названием «гоголь» — островерхие, вроде поповских камилавок. Тут уж публика не посмотрела, что май месяц, и начала их не только разбирать-расхватывать, но и про хулу и поношения забыла. Вот тут-то директору магазина кое-что перепало...

Но все же это было только раскачкой — настоящее дело засветилось, когда на степной прославленной целине, о которой тогда только и было разговора, открылись торговые вакансии. Поразмыслив, примерившись, как он оставит свои шапки-шляпки, жену и мать, Федор подал заявление, где, как и в тысяче других — чтобы походить на этих других! — стояло: трудностей не боюсь.

Какие уж там трудности! Сразу попал на хорошее место.

И опять на фрукты и овощи, с которых начинал свое служение в торговой сети. Но какие! Не тот, в две витрины, магазинчик, а здоровущий склад-база. Да еще вместе с бакалеей... И вот тут-то, на степных просторах, Федор Трофимович и развернулся. Вот тут-то думка его наконец-то по-настоящему, по-желанному исполнилась...

Но и это прошло. Однако чинно-благородно прошло, как пчела на щедром цветке: пьет-пьет мед, да уж полна, да уж вся набухла — пора и отвалиться подобру-поздорову...

И вот снова в Москве и на чистой, красивой работе — лисиц серебристых да соболей баргузинских продает. И все другое: и кабинет у директора просторный, с вазами, с коврами; и сам степенный, представительный, и дача под Москвой, и в гараже своя «Волга», да еще и нетронутое, запасенное лежит...

Но в семейных отношениях за это время были утраты. Мать Нади — Елена Николаевна — так и не вернулась из эвакуации, и дочь на чужом кладбище, в чужом городе похоронила ее. Годом позже погиб на фронте отец. Надя совсем осиротела, и Федор, чтобы в доме была помощница, взял после войны свою мать — Марфу Васильевну — к себе.

...Вот к этому-то семейству и с благоденствием и с утратами в один августовский день и подошел Ужухов. Его не интересовало жизнеописание этих дачников, он знал только одно: о н о здесь, о н о затемнено, скрыто, и его дело — хорошо, легко в з я т ь...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВНИЗУ

1

Как показал Ужухов на следствии, план его был такой: пробраться в подпол дачи Пузыревских, затаиться и ждать, когда в доме останется одна старуха. Только так, находясь в доме, а не маяча около него, что, конечно, вызвало бы подозрение, и можно было это сделать. Когда его спросили, почему он избрал именно старуху (М. В. Пузыревскую), Ужухов ответил:

— Сам-то хозяин больше в магазине, а на даче он только вечер и ночь. И в это время его одного не застанешь. Кроме того, если и случись это, то он мужчина здоровый, мог мне вполне и накидать... Я ведь пустой, без оружия шел... Если же взять дамочку ихнюю, то она не в счет. Как полагаю, останься я с ней один на один, ей мне и сказать-то нечего будет... А вот старуха, я рассчитал, должна была знать, где лежит то, за чем я пришел. Сын-то должен был кому-то довериться! А мама у него как раз подходящая...

* * *

Но это было потом, а сейчас, утром двадцать четвертого августа, Ужухов проснулся от режущей боли за ухом. Четыре найденных в подполе кирпича, которые он положил вчера ночью в изголовье, конечно, оказались не подушкой. Закрыл их краем одеяла, положил под ухо меховую шапку, и все же получилось не пух-перо. А потом и это съехало, и под утро лежал просто ухом и щекой на голом кирпиче...

Он, не проснувшись еще совсем, приподнялся, сел на землю и своей короткой с широкими ногтями рукой потер за ухом. Под пальцами что-то тонко, чуть слышно затрещало, и Ужухов, поднеся ладонь к глазам, увидел кусок пыльной паутины. Пыли на ней было так много, что на руке лежал как бы серый лоскут. Он вытер ладонь о свои черные штаны и хотел было встать — после сна тело просило подняться,— но голова коснулась потолка, и он остался сидеть. Отгоняя сон, Ужухов грубо — сплющив широкий нос — провел рукой по лицу. Поднял глаза и увидал над собой доски пола и сизую, в трещинах, балку, по которой взад и вперед нервно бегал разоренный, без своего серого шалаша-лоскута, паук.

«Ах, да!..»

И сон совсем отходит. Вспоминает поздний поезд, путь по темным дачным улицам, заскрипевшую калитку, согнутую — чуть не на четвереньках — неслышную пробежку до подполья...

Откуда-то сильно тянет керосином, и Ужухов оглядывается. Вот не думал, что в таком месте светло будет! Но в дощатой обшивке подполья то щель виднеется, то вон там доска отошла, а вот тут даже сквозь выбитый кругляшок сучка свет проходит... Ужухов подползает к кирпич-

ному столбу фундамента и заглядывает за него. Нет, не за столбом, а вон у входа, у самой дверцы стоит бутыль с промасленной бумажной пробкой.

«Ничего, ничего!.. Наливают керосин, конечно, снаружи, а сюда только ставят».

И тут начинает прислушиваться к доскам, к балкам над головой — не проснулись ли обитатели. Первой, понятно, должна проснуться мамаша. Старухи спят мало, да, кроме того,— заметил по прошлым приездам — хозяйством больше занята она, чем невестка. Дамочка встанет попозже, а сам и того позднее, встанет на все готовое — только пей, ешь да езжай к одиннадцати часам в свой меховой магазин. А долго ли тут на «Волге» докатить!..

Посмотрел на часы: без двадцати семь. Опять глаза на доски над головой. Ни шагов, ни шума. Раз так, попусту ждать не нужно. Скрючившись, спасая голову от балок, заковылял на корточках к обшивочным доскам, где виднелись щели. Но они оказались не те, не подошли — видны отсюда клумба, часть забора, соседняя дача. Перебрался влево. Тут сквозь щель виднелись совсем уж задворки: гараж, ледник, тропинка до ветру...

«Чего полез сюда! Вправо надо!»

Взял поправее первых щелей, и верно. В круглую дырку, оставшуюся от выпавшего из доски сучка, была видна песочная дорожка, грядка белого табака у зеленой ограды, край клумбы. И вот она — калитка! Теперь только держи пост: кто ушел, кто пришел — все видно...

Оглядываясь — не потерять бы примеченную среди других щелей! — он на четвереньках пополз к своему барахлу, захваченному на время лежки: старое байковое одеяло, мешок с харчами, меховая шапка, чтобы голова ночью не простыла. Прислушался — не встали ли — и перетащил все это к дозорному глазку в доске.

...Бывает так, что миг повторяется. Уложил, умял свои пожитки, чтобы не мешали, и только прильнул к светлому кружку, как увидел: мимо зеленой решетчатой ограды идет высокая женщина в черном надвинутом на лоб платке... Ну прямо тетка Аграфена Агафоновна! Даже вон на палку по-теткиному опирается... Одно не то — Аграфена посытнее, покруглее телом была. И вот возник, повторился из прошлого денек, минута, миг: Аграфена — как вот сейчас эта — шла к дому, шла, ничего не чуя, а он, двенадцатилетний Васька Ужухов, тоже, как и теперь, сидел, за-

таясь, и тоже, как теперь, прильнув к круглой из-под сучка дырке в сарае, должен был высмотреть тетку и предупредить: в доме идет обыск...

Ах, Аграфена Агафоновна, шмара бесценная, не родиться бы тебе, паскуде! Утонуть бы тебе, милой, золотой, в поганой яме — чтобы ни вздоха, ни пузырьков...

С нее началось... Ехал мальчонка из деревни в город на простое пропитание, а попал в такую малину, что по военному тогда времени и во сне не снилось,— всем залейся, всем завались!.. И все тетечка-хлеборезка. И пусть бы уж сама крохи в подол собирала, но и племянника к делу приставила, и толстомордого кладовщика Семена, который и в котах при ней ходил, и хлебные крохи-пудики на базаре спускал... Небольшое дело — хлеб, а тетечку, как на дрожжах, разнесло: и отрезы, и золотые кольца, и часы... Разнести разнесло, а сама черный платок на глаза, клюку в руку — ну, монашка, постная душа, хоть копейку ей подавай...

И подали ей. И Семену тоже... «Черного ворона» подали. Отсидела свое, вернулась, а племянник времени не терял — катился, куда его толкнули. А ей это в масть: готовый помощничек почище пропавшего, невернувшегося Семена оказался. Был мальчишка на побегушках, а теперь уж своя хватка, свой глаз. И по любви вместо Семена его приспособила. Оно, конечно, грешно — родная кровь,— да ведь апрельский молоденький огурчик кому не в сласть...

И второй раз «черный ворон» двоих увез. Тетечка, как на богомолье, на знакомые места, на знакомых людей поехала, а племянника-огурчика с вольной грядки в первый каменный засол пустили — лежи да поглядывай на распрекрасную решетку...

2

Где-то на конце половиц послышались шаги, и Ужухов взглянул на часы: половина восьмого.

«Старуха встала... День начинается».

Шаги то приближались, то удалялись. Потом раздались над самой головой — даже выбилась пыль из щелей между половицами. Подпольный постоялец отмахнулся от нее, как от папиросного дыма.

«На террасе накрывает».

И верно: старуха сносила все сюда, на террасу, под которой находился Ужухов. Стукала посуда, позвякивали ложечки, фырчали отодвигаемые стулья. Из дальних комнат глухо доносились какие-то другие шаги и постукивания.

«Сами поднялись».

На террасе же минуту-две стояла тишина, потом, приближаясь, послышался грузный — на пятках — топот. В неверном свете подполья было видно, как еще издали, и тоже приближаясь, стали из-под этих увесистых пяток падать от половиц на землю белесые столбики пыли — все ближе и ближе. Ужухов подумал: «Не сам ли идет!», но шаги мелкие, торопливые, так могла идти только женщина с тяжестью в руках. И верно: над головой вдруг ухает, стукает металл о металл, а обратные шаги — легкие, обыкновенные, те самые, которые первыми были.

«Старуха самовар подала... на поднос».

Вскоре все собираются на террасе, и Ужухов видит, как напряглись, чуть даже прогнулись половицы у него над головой. Стук посуды — наверно, через ножки стола — доходит довольно отчетливо, голоса же бубнят, как под одеялом.

— Это корейка? — Слышно, как кто-то ложкой, захватывая, проводит по сковородке.

— Нет, грудинка. Ты же видишь, с косточкой.

— Лучше бы корейку. Она пожирнее.

— Тебе доктор сказал, что сала надо избегать. Да и грудинку ты зря. Взял бы вон лучше крабы.

Мужской голос — это, конечно, сам Пузыревский, а женский — не то жена, не то мать.

— Если докторов слушать, то и есть надо прекратить. Мой-то до самых последних дней что ни попадя все ел и кушал. Сало не сало, а подавай! И ничего... А в заговенье или в мясоед от стола не отходил. И ничего.

«Это старуха. Как у вороны голос». Ужухов вспоминает ее выкрик в первый свой приезд: «Пышено где?» И сейчас прислушивается к ее голосу внимательно, будто это *потом* ему пригодится.

— Как же, Марфа Васильевна, ничего,— вмешивается невестка,— когда как раз ожирение у Трофима Матвеевича и сыграло свою роль...—Что-то шлепается об пол, и тот же голос возмущенно: — Федор! Сколько раз я тебя просила не выплескивать на пол!.. Словно ты в трактире!

Между половицами стекает тонкая струйка, и Ужухов,

чертыхаясь про себя, поскорее отводит ногу. Но вода попадает на его черные штаны, и он, пришептывая: «Вот балда!», стряхивает ее, отсаживается подальше. Но этому черту и горя мало! Хмыкнул, сказал: «Извиняюсь» — и уже вину с себя валит.

— Может, оно и как в трактире,— доносится сверху его голос,— но не наливала бы на блюдце... В прошлом году, когда я был в Варшаве, при мне из кафе уволили официанта за то, что подал посетителю чашку кофе, а на блюдце мокро было. Ну, тот, конечно, себе на брюки... Положи-ка мне еще грудинки, а чай пусть остынет...

Ложка скребет по сковородке, и только тут до Ужухова доходит запах жареного лука и сала. Он переводит взгляд на свой серый мешок, на котором лежит полоска света, упавшего через какую-то щель. Втягивает носом воздух и быстро наклоняется к мешку, развязывает его. Ничего жареного тут, конечно, нет — круг бараньей, с твердым жиром, колбасы и буханка черного хлеба,— но от запаха на террасе, проникшего сюда, в подполье, вот как жрать хочется!.. На дне мешка —две поллитровки. Одна из них — с водой. Вдруг тревожится: а где бидончик с водой? Припадает на локте вправо, влево,— оказывается, за каменным столбом. Вытаскивает из мешка бутылку, которая не с водой, срывает с головки серебряный кружочек и, вытерев губы, подносит к ним горлышко. Потом принимается за колбасу и хлеб. Пока ощипывает неподатливую кожуру с бараньей, пестрой, похожей на мрамор, колбасы, зло посматривает на открытую бутылку, стоящую на земле. «Деньги какие берут, а пробки настоящей нет! Теперь вот нянчайся с ней!» Роется по карманам, находит какую-то бумажку, комкает ее и затыкает горлышко недопитой бутылки...

* * *

Потом Ужухов видел, как дородный, крупный Пузыревский в сиреневом костюме, покуривая, прошелся вокруг клумбы; затем — по дорожке вдоль зеленой ограды, где пошатал какую-то доску; у калитки, натужившись, выпрямил согнутый крючок. Постоял, оглядывая все свое хозяйство,— весь какой-то благополучный, розовый, довольный,— и вдруг, что-то вспомнив, поморщился, лицо потемнело... Хмуро глядя в землю, вернулся в дом, взял

красивый желтый портфель и прошел в гараж к машине. И уехал.

«Ну, одним меньше,— подумал Ужухов, когда «Волга» отъехала.— Теперь бы только дамочке отлучиться...»

Он отстранился от глазка в доске и полез в карман за папиросами, закурил. Но тут же потушил огонек: на террасе еще ходили, и раз вода через щели прошла сюда, значит, и дым туда может подняться... Вчера ночью, когда встал тут на постой, курил без опаски, а сегодня даже после водки — когда страсть как охота покурить — подожди-подумай!

И Ужухов сейчас стал ждать не того, зачем залег в подполье, а просто ухода женщин с террасы. И скоро дождался — погремев посудой, они ушли в комнаты. Он тут же закурил, но все же не привольно, а суетливо разгоняя дым. И тут в тишине от выпитого, от первой утренней затяжки все показалось простым и скорым: сейчас жена хозяина, взяв сумку, пойдет на станцию в магазины или с лукошком в лес по грибы — и все! Через минуту он будет около старухи...

Ужухов загасил о землю окурок и прильнул к глазку в доске так, чтобы была видна калитка,— хозяйка ведь могла пойти не с террасы, а с черного хода, и только у калитки ее заметишь.

...Так он просидел час — никого. Небольшое время час, но смотреть не отрываясь в глазок величиной с гривенник... Ломило спину, затекали ноги — приходилось пересаживаться. И быстро, не зевая, приглядывая за глазком, а то пропустишь. Да еще эта дырка, черт, не совсем вровень с глазами,— надо было тянуться.

На обед прошли плотники с соседней строящейся дачи и среди них тот черноусый плакатный красавец, который в первый приезд Ужухова командовал ему: «Кантуй! Кантуй!» Проехал, тренькая звонком и разгоняя кур, велосипедист с бидоном в руке. Напротив, на дороге, остановились две женщины с авоськами и долго говорили, размахивая руками. Из этого заметились только бидон, авоськи. «А моя чего-то тянет, не идет в магазины». Появился какой-то ферт в белых, в черную полоску, брюках с тортом в руках. Он ходил зигзагом от левой стороны улицы к правой и громко спрашивал: «Где тут дача номер тридцать восемь?» На его голос, протопав на террасе над головой Ужухова, вышла старуха Пузыревских, и подпольный на-

блюдатель затревожился («Не к нам ли этот гусь?»), но старуха, дойдя до калитки, показала ферту куда-то в сторону.

Она возвращалась к террасе, и Ужухов, поймав ее, как на мушку, следил за ней через глазок. Низенькая, толстая, с обвисшими серыми щеками, старуха переваливаясь шла на него и опять, как с бидоном и авоськами, сейчас увиделось только одно — ее шея. Это было что-то безотчетное. Он посмотрел на свои руки — пальцы тоже сжимались...

— Марфа Васильевна, это к Иглицким? — вдруг раздался с террасы голос.

— К ним... Сегодня сама именинница. Позвали бы гостей к вечеру, так нет — к обеду, по-благородному, чтоб пыль пустить...— Старуха пропала в глазке и сейчас тяжело поднималась по ступенькам террасы.— А по будням самим жрать нечего! И забор второй год некрашеный стоит...

— Ну, что за глупости! Просто они живут иначе, чем мы... Сами ходят, и у них люди бывают...

Ужухов отстранился от глазка и принял позу поудобнее: пока они обе на террасе, можно отдохнуть. Хотел закурить, но вспомнил про щели наверху, сплюнул, проворчал: «То одно, то другое».

— А что толку! Зато у нас полная чаша... Тебе Федя только что два новых платья справил...

Молодая хозяйка не сразу ответила. Слышно было по ее легким, на каблучках, шагам, как она ходила по террасе.

— Ах, Марфа Васильевна, мне вам трудно объяснить...— заговорила она.— Принято думать, что художниками, скрипачами, баритонами и так далее люди рождаются, а всеми остальными они делаются... Жизнь их, дескать, делает. А по-моему, например, купцами, дельцами люди тоже рождаются... Посмотрите, работает человек в каком-нибудь нашем учреждении лет тридцать — сорок, говорит красивые слова, призывает, агитирует, а вышел на пенсию или в отставку — и смотришь, нутро его совсем другое: начинает строить дачку, курятники. Начинает доставать, продавать, хитрить, обманывать, взятки совать... Возьмите Щеголькова около станции. Кем он был на работе и кем он стал теперь! Ведь весь сияет, что дорвался до своего, до своей натуры!..

— Ты это к чему? У нас, слава богу...

— А к тому, что не все от этого сияют... Я говорю о его

домашних. Помните, вы говорили, что у этого Щеголькова с дочерью нелады?

— А у кого теперь с молодежью лады?..

— Ах, это совсем другое!.. Ну хорошо, оставим это!.. Вы говорили, что за маслом надо сходить? А что еще взять?

— Больше ничего... Может, разве рыбы копченой...

Ужухов вздрогнул, почувствовав озноб на спине,— вот оно! Через минуту, через две... И непонятно: столько ждал, а сейчас лучше бы бабы еще о чем поговорили... Но все же припал к своему глазку. Смотрел на зеленую калитку и не видел ее; по улице, за калиткой, проехала телега с рыжей лошадью. Он, будто ему это сейчас нужно, проследил за ней... И почему-то потемнело. Неужели уже вечер! Что же молодая не показывается? Голоса доходили из дальних комнат, потом стихли, и он, скосив глаза, ждал, когда она появится на дорожке справа от черного хода. Но голоса вернулись сначала в комнаты, потом на террасу.

— Возьми зонтик.

— Не поможет... Кругом обложило.

Только сейчас увидел: шел дождь. И не вечер, а стояли тучи. Повернулся спиной к глазку, ударил кулаком по земле: «Вот черт!» Теперь было досадно: «Чего возилась, вышла бы до дождя!»

3

Сюда, в подполье, дождь доходил равномерным гулом, только, как запевала в хоре, тренькал на углу дачи водосточный поток, падая то в звонкое ведро, то в гулкую кадушку. Заглянув в глазок, Ужухов заметил плотников, возвращавшихся с обеденного перерыва,— накрыв головы холщовыми мешками, они неторопко бежали к своей стройке. За ними, облаивая их, гналась белая, с загнутым хвостом, собачонка.

«Значит, уже час».

И верно: на часах был уже второй. Дождь все не унимался, и под обшивочными досками подполья, где был глазок, появилась лужа. Она подползала под сложенное вчетверо одеяло, на котором сидел Ужухов, и ему пришлось щепочкой отгонять ее, прорывать ей отвод.

«Хозя-аева тоже!.. Если вода под фундамент, то все гнить начнет!»

От лужи ли этой, или от дождя вокруг, но в подполье стало как-то сыро, зябко, и он, дотянувшись до бутылки

с бумажной пробкой, отхлебнул два глотка. Бездействие томило. Сложил руки, смотрел в одну точку. Наверху было тихо, лил дождь, уже не тренькал, а бубнил водосточный поток — и ведро и кадушка, наверное, налиты... Не глядя, покопался в мешке, ухватил там кусок колбасы, стал жевать.

Но все кончается. Щели в обшивочных досках вдруг побелели, засветились, а с левой стороны просунулись лезвия солнечных лучей. Теперь надо занимать пост.

В глазке все сияло — трава, цветы, листья деревьев. На темно-лиловой, набухшей от воды клумбе ярко выделялась зелень и какие-то белые мелкие цветочки. Зеленая калитка лоснилась от дождя, и около нее, пробравшись на участок, бегала та беленькая, с загнутым хвостом собачонка, что гналась недавно за бегущими плотниками. Приостановясь, подняв одну лапу, она понюхала воздух и бойко побежала по дорожке к даче. Ужухов похолодел.

«Вот стерва!.. Это она на колбасу».

И он сразу представил: она подбегает, чует за досками человека и начинает лаять...

Умял поскорее мешок, чтобы закрыть запах, вытер об штаны обмасленные пальцы. На террасе послышались голоса, быстрые шаги и пропали в комнатах...

«Сейчас хозяйка идет к калитке, а тут лай».

Заглянул в глазок влево-вправо — собаки не было. Отлегло — пробежала мимо... Стал смотреть на калитку — вот сейчас хозяйка за маслом, и все кончится. Ему вдруг захотелось — просто тело просило — разогнуться, встать во весь рост. Да, т о г д а над ним не будет давящего потолка-пола, а во весь рост...

Почувствовал за собой не то шорох, не то дыхание. Быстро обернулся: собачонка. Как же она пролезла сюда? Собака стояла, строго смотря на него, выжидательно наклонив набок голову — вот сейчас залает. Пальцы сами собой сжались и уже к ней... Но опустились: пока задушишь — визгу сколько! На террасе старухин голос: «Чего это в магазин в шелковом идти! Не барыня! Надела бы ситцевое». Подождать, замереть, пока та в калитку? Не угадаешь — залает, и тогда две бабы сюда. Сердце колотилось, руки взмокли...

«У-у, проклятая!..»

И вдруг загнутый хвостик влево-вправо. И глаза просящие: дай, пожалуйста.

«Вот балда!»

Собака-то сама чужая, мимоходная! Разве она в чужом месте будет лаять? Нагнувшись к мешку, отломил ей кусок хлеба и бросил. Та съела, осуждающе глядя на человека — не за этим сюда лезла. От второго куска отказалась. И Ужухов на нее свистящим шепотом:

— Ну и брысь, черт! Колбасы тебе!..

И замахнулся. Собака покорно отскочила и исчезла в полутьме подполья. Тут же заглянув в глазок, он увидел ее трусящей к калитке. Рукавом вытер взмокший лоб. «Уф-ф! Да-а».

Всякая опасность, минуя, приносит облегчение, и забывается то, что предстоит впереди. Сидел, бездумно смотрел в глазок на зеленеющий, просыхающий после дождя сад, и сердце и тело утихали... И вдруг старухин голос: «Подожди! Посмотрю!» — вернул к т о м у. И то, что утихало, отходило, опять забилось. Но и ожесточило, как бы обрадовало: «Эх, скорее бы!» И, ободряя себя, обнадеживая, живо представил, как через какие-нибудь час-полчаса он неторопко, безмятежно будет подходить к станции. Только еще не виделось: где же будет о н о — в карманах, в мешке, за пазухой?..

— Ну, вот всегда так! —раздался над головой голос молодой хозяйки.— Выбросить надо, а вы все храните! Лучше я за свежим маслом схожу.

— Разбросаешься, милая...Тут, почитай, грамм полтораста. И как оно в холодильнике завалилось, не пойму...— У старухи был виноватый тон, но она наступала.— Выбросить! Чужих денег тебе не жалко. Чем на станцию таскаться, ты, Надежда, займись лучше огородом. Опять помидоры полегли...

Ужухов понял: на станцию не пойдет. И уже не было силы ни чертыхаться, ни действовать, ни думать... Он повалился на землю, раскинув руки, и только тут почувствовал, как устала спина от долгого, неудобного сидения. Лежал, смотрел на сизые, в паутине, половицы потолка-пола, и ничего не хотелось, все, все равно... Хоть собирай свои пожитки и катись домой. Только мелькнуло ни к чему: молодую, оказывается, зовут Надежда. На террасе что-то говорили — не слушал,— потом стало тихо, но почувствовал: по-нехорошему тихо.

— Марфа Васильевна! — У этой Надежды дрожал голос.— Вы понимаете, что говорите! Утром сказали, что

Федор мне «платья справил», сейчас, что мне «чужих денег не жалко». А вчера что-то от меня тайком купили и спрятали... Ведь это...— Голос прерывался.— Ведь это просто... да просто оскорбительно слушать, видеть! Вы понимаете?.. Есть у вас совесть? Ведь Федор... и вы ему поддакивали... сам уговорил меня уйти со школьной работы... Кто я теперь? Была учительница, меня любили на работе... а теперь будто из милости, будто приживалка...— и она заплакала. Дрожал, ломался голос, а теперь и слезы.

«Вот стерва, действительно...»

Ужухов проклинал старуху за то, что именно она отговорила хозяйку от масла, от станции. Это из-за нее, ведьмы, он томится тут! Но и это услышанное тоже... Слова «приживалка» он не знал, но догадался, что это обидное, да и вообще довела дамочку до слез... Попрекать человека куском хлеба — он так считал — может только сволочь. Таких даже в тюрьме не было...

Так, как бы в забытьи, он пролежал часа два, прислушиваясь к невнятным голосам и шагам в комнатах, прислушиваясь к одному: не уходит ли кто? Доносилось то шарканье щетки, то буханье выбиваемых ковров. Затем стали постукивать посудой, ходили в кухню — обедали. Потом мыли посуду, потом где-то сбоку раздалось поросячье хрюканье и ласковое причитание старухи: «Ах ты мой гладенький, ах ты мой румяненький, ах ты мой лопушочек!..»

«Не то, что с невесткой!» — Ужухов перевернулся на бок, и теперь открылся ему весь простор подполья — стало как-то легче, свободнее, тело не просило, как прежде, разогнуться, встать во весь рост. И он незаметно для себя заснул...

4

Проснулся от каких-то недалеких голосов, вскочил опрометью — хозяйка небось ушла, старуха одна, а он тут дрыхнет!.. Но это спросонок — один из голосов был Надежды. Щели в подполье светились уже не солнечным, а серым предвечерним светом; взглянул на часы: было без пяти шесть.

«Скоро уж и сам из магазина... День впустую».

Он представил, как будет спать тут, в этой могиле, и вторую ночь, и покрутил головой... Впрочем, корешки говорили — он-то сам впервые! — что по такому делу л е ж-

ку три дня, бывает, занимают... Поворошил в мешке, достал хлеба, колбасы и, запивая водой из бидончика, закусил. Обтерев толстые губы рукавом, подсел к глазку: с кем это там хозяйка?

Около клумбы, на скамейке, ближней к дому, сидела в белом платье с красным передником Надежда и с нею рядом — лицом к Ужухову — какая-то длинная девчонка с двумя желтыми косами. Глаза ее были заплаканы, а на лице хозяйки такой вид, будто горе у них одно, и она все понимает. Это у баб обычно — любят в душу влезть, на себя принять... Но стал рассматривать молодую хозяйку.

В те дни, когда он ездил на дачу Пузыревских в разведку, она ему показалась обыкновенной дурой дачницей, которая от жира и дармоедства каждый год таскается за город дышать воздухом, будто его и в городе нет. Но за сегодня он услышал, что жизнь ее не сладка, а сам он тоже настрадался немало, поэтому она стала для него как-то понятнее, хотя, конечно, ее горемыканье и в сравнение не могло идти: при таком-то фартовом барахле возьми свою долю да и иди на все четыре стороны... Впрочем, они, бабы, привязчивы — лучше поплачут-похнычут, чем уйдут.

Из разговора, который до него доносился, он понял, что эта длинная девчонка с двумя косами была та самая дочь Щегольковых, о которой хозяйка и старуха днем вспоминали. Ее нелады с отцом дошли до того, что она хочет уйти из дома, переехать в студенческое общежитие. Пришла она не жаловаться, а попросить у Надежды какую-то тетрадь — записки, оставшиеся от ее учебных лет, но по-бабьи разговорилась и дошла до своей домашней беды, до слез...

— Вы еще подумайте, Катя! Это не так просто... А мать как?

Хозяйка говорила, повернув к гостье голову, и сейчас были видны ее большие, красиво блестевшие глаза, румянец, поднявшийся к вискам. Но Ужухов после услышанного сегодня заметил только, что лицо у нее доброе и бездольное, какое бывает у людей, когда у них не жизнь, а жестянка...

— А мама будет ко мне приходить...— Катя проводила скомканным платочком по глазам, утирая высыхающие слезы.— Будет приходить... Вы поймите, я не могу оставаться... В школе еще мы разбирали «Крыжовник» Чехо-

ва... Все возмущались, осуждали человека, залезшего в мещанское болото, в мелкие интересы, в собственность... Отец, помню, мне помогал, когда я готовила «Крыжовник»... А теперь сам! Все силы — в дачу. Ни о чем другом думать не может. То строит, то ремонтирует, то подстраивает. Все какие-то гвозди, тес, шпаклевка, шелевка, горбыль... Нигде не бывает и никого знать не хочет. Живем в скорлупе...

— Ну, отцы и дети, знаете, всегда...— примирительно сказала Надежда.— Только так говорится, что проблема эта в прошлом.

— Нет, у Светланки другой! С ним обо всем поговорить можно — человек человеком... А тоже строил дачу. Через дорогу от нас...

Хозяйка потянулась, сорвала травинку и стала обматывать ею палец.

— Это все зависит, Катя, от культуры. Какая она: внешняя или внутренняя...— Надежда принялась разматывать травинку.— Я знаю одного человека... Поскреби его, а там... В общем, не то, что сверху... Но что у нас, у женщин, плохо, позорно! — Она отбросила травинку.— Привыкнув жить под крылом, мы трудно с ним расстаемся! Даже если видишь, что крыло тебе... чужое.— Она дотронулась до Катиной руки.— Это, конечно, не про вас, а про замужних... некоторых. Про тех, которые ошиблись, не то нашли...

Но Катя, видно, свое еще не отговорила.

— Нет, я буду жить отдельно. Не так стыдно...— Она пристально посмотрела на Надежду.— Ведь, понимаете, нет ничего стыднее, когда на словах одно, а на деле другое. Ведь есть уже бригады коммунистического труда... Не у нас, конечно, а на заводе, но все равно мы как бы с ними... Тоже душой с ними, тоже в ответе. А вот дома все другое, другое... Будто вру кому, будто бессовестная! — Катя передохнула, губы у нее задрожали, и она опять схватилась за мокрый платок.— Маму только жалко! — Она отвернулась.— Ну, будет ко мне приходить... Так ведь не насовсем, а лишь на минутку...

Ужухов все слышал, но не все ему было понятно. Так он однажды по радио слушал: горячились люди, горячились, но так по-ученому, по-мудреному, что неизвестно из-за чего... Прямых слов нет, а все только вокруг. И с дачами, что девчонка говорила, тоже не то... «Эх, дуры бабы!

Не о том ахать надо, что человек к дачке своей присох, а о том, как он ее на свои восемьсот целкашей жалования строил!.. Тут вот сиди в сырости, как гриб, и добывай себе хлеб-соль, а тот на свету вразвалку ходит и ничего!..» Но поверх всех слов, поверх всего мудреного и ненужного он понял эту девчонку с двумя косами, как недавно понял и хозяйку. Зря слез не льют...

Вдруг встрепенулся.

«Эх, дело чертово! Тут слюни не распускай!»

Пока суды-пересуды, пока о чужих слезах жалостился, эти, на скамейке, вдруг поднялись и пошли. Думал, хозяйка до калитки, а она — и за калитку... Это что же? Провожать пошла! И далеко — Щегольковы, слышал, ведь у станции...

И сразу от покоя, от беззаботного подслушивания у глазка — вдруг к своей заботе. И в мыслях все уже вернулось, а тело еще сидит у глазка и отрываться не хочет... Но вот по-собачьи, на четвереньках, бросился к дверце, к выходу. Да в темноте, в суете — не в ту сторону. Вернулся, заметил свое барахло: брать, не брать?.. Что же после т о г о сюда, в темноту, опять за вещичками лезть?

Взял мешок, одеяло, шапку... А недопитую бутылку водки в каком-то беспамятстве решил оставить. И, прижимая к себе вещи, уже отполз было от нее, но оглянулся. Через щель серый лучик вечернего света — прямо на бумажную пробку в бутылке. Другому балбесу и не понять — пробка и пробка, а тут своя выучка: сколько фартовых д о м у ш н и к о в и г о р о д у ш н и к о в засыпалось на мелочной дряни — на клочках да обрывках... А бумажку для пробки он ведь из кармана вынул,— может, что написано там!

Вернулся, бросил вещи и — к пробке. Верно — что-то написано. Пробку сунул в карман и глазами вокруг — чем бы еще заткнуть? Шарил-шарил и вдруг, как по лбу,— вот балда! — зачем вообще-то бутылку оставлять? Заткнул той же бумажной пробкой — и в карман. Схватил вещи, подцепил и забытый раньше бидончик с водой. Тяжело переваливаясь, как подбитый — на двух коленях и одной руке,— заспешил к выходу.

Уже потянуло керосином от бутылей и банок, стоящих при выходе. Пополз медленнее. У дощатой дверцы замер. Приоткрыл ее, выждал — не смотрит ли кто? Мимо изгороди по улице шли двое — пусть пройдут... Но они не про-

шли. Открыли калитку. А это, оказывается, Пузыревские...

Ужухов отпрянул от дверцы в темноту.

«Ну, все! День кончился!»

Не выпуская вещей, привалился у дверцы, как узел.

...Федор Трофимович, встретив жену с заплаканной Щегольковой, молча подождал, когда они распростятся, и, как только Катя отошла от них, спросил: что за слезы? В ответе жены было не только сочувствие Кате, но и что-то такое, направленное против него, Федора.

Это было для него не новым, и он обычно, как человек, которого в чем-то обвиняют, старался оправдаться. Но сегодня только досадливо махнул рукой, пробормотав: «А-а! Надоело!» Надежда Львовна удивилась не словам, а голосу — был он какой-то резкий, каркающий. Она посмотрела на Федора, и теперь поразило его лицо: неподвижное, темное, с каким-то затаенным блеском глаз. Он вышагивал в своем франтоватом сиреневом костюме рядом, рослый, тяжелый, и песок на дорожке скрипел под ним. Но шел неровно: то замедляя шаг, то даже приостанавливаясь. Так держит человека мысль, дело или желание, не до конца решенные.

Но Надежда Львовна подумала: какие-нибудь неприятности по работе. И так молча они подошли к дому, открыли калитку и молча — она впереди, он сзади — взошли на террасу, прошли над изнуренным, притихшим Ужуховым. Ее шагов подпольный узник не услышал, от ног же Федора половицы террасы стали прогибаться — над головой, дальше, еще дальше, уже в комнатах, затихая...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НАВЕРХУ

1

Да, Федору Трофимовичу сейчас было не до чужих слез, не до семейных разладов и обид. Было одно дело, которое он в душе называл «смелое дело», оно приближалось, с ним уже нельзя было тянуть, а смелости-то не хватало. Бывают такие тайные заботы — и легко ходит человек, и смеется, и заведенные дела делает, а душу, как в старину говорили, червь гложет. И никому об этом черве не расскажешь,

помощи не получишь — все сам и сам... И оттого, что все сам — без благословения, без локтя рядом,— боязно... Вот на целине было совсем другое! Не в одиночку тогда шел, не бобылем, а подобрались хорошие, солидные люди, и все чинно, благородно — и друг другу посоветовали, и друг другу помогли, и сообща отвалились подобру-поздорову...

...В большом деле все большое: и добро и зло. На бескрайние степи поднимать нетронутую землю приехало доброе большое племя, обуянное жаждой подвига, жаждой небывалой работы, неслыханных свершений. Не громкая, не крикливая, а простая любовь к родине привела их сюда, привела налегке, с котомкой за плечами, и привела на пустое, дикое, где надо было начинать с древнего, с первобытного: с костра и с кольев, вбитых в землю — в землю, в которую никто и никогда ничего не вбивал...

Но, конечно, страна не оставила их здесь робинзонами — следом потянулись строители, хлебопеки, водовозы, завклубами, киномеханики, почтари со сберкассирами, ну и, понятно, всевозможная торговля. Над всеми этими потянувшимися реяла слава целинников. Что же, справедливая слава: они тоже начинали с костров и кольев. За первым эшелоном был второй, третий — и слава еще реяла, но под ее стяги порой стали подходить, подъезжать и такие молодцы, которые у себя дома давно были обесславлены или после всяких крушений прозябали на невидной работе. Облегчало им дорогу сюда и то, что костров и кольев уже не было — люди жили в домах с теплом, с водой, с клубами и с торговлей. Вот именно что с торговлей. К ней-то новые паломники и пристали. И не зря: базы, склады, магазины — все широко было, не потревожено, не пугано, тоже в своем роде целина. Зловредные ракушки прилипают и к двухвесельной лодке, и к просторному дну могучего дредноута. Так и здесь: в большом, народном деле и прилипал оказалось немало...

Так огорчительно Федор Трофимович про себя, конечно, не думал, тем более что поехал он на целину, тяготясь невидным и беспокойным магазином с шапками-шляпками, имея о будущей своей работе на целине хотя и обольстительные, но смутные планы. А уж осенило его потом, на месте. И про это недалекое время — прошло всего четыре года — он часто и с охотой вспоминал. И легко вспоминал — все обошлось хорошо, тихо.

...Как нередко бывает, помог счастливый и, можно ска-

зать, забавный случай. По новой проложенной трассе, проходящей через старую, еще доцелинную деревеньку, ездил их базовый шофер Вакуличев. Глупые деревенские куры, незнакомые еще с двигателем внутреннего сгорания, попадали под него. Когда дюжий ярославский «ЯЗ» с медведем на радиаторе, грохоча и дымя, проезжал, хозяйки бежали к погибшей душе, поднимали ее, бездыханную, с дороги и, причитая, понося черта с внутренним сгоранием, тащили ее к заведующему торговой базой Тишаеву. Сердобольный и справедливый заведующий платил деньги за раздавленную курицу — как же иначе! — потом вызывал Вакуличева и отчитывал его, обещая переложить расходы на него. Тот оправдывался:

— Так разве ее заметишь! В сравнении с «ЯЗом» куренок все равно что комар. Кроме того, четыре здоровущих колеса — не углядишь. Может, задним маненько и прихватишь птицу...

Однако платить за свое «маненько» отказывался. А кур несли и несли...

И вот однажды сердобольный Тишаев, как всегда, пишет записку в свою бухгалтерию: «Оплатить», а сам на почившую курочку-рябу поглядывает. Женщина же — чтоб шоферское злодейство виднее было — на двух ладошках, как на подносе, ее держит: смотри, начальник, любуйся... Но автоперо у заведующего что-то заело: «опла» написал, а вот «тить» не пишется. Пока встряхивал перо, продувал, в это время откуда-то таким ароматом запахло, что нос на сторону! Оглянулся, огляделся — так ведь это от курочки-рябы несет!.. Тишаев бросил «тить» выводить и — к этим ладошкам, что держат усопшую.

— Мамаша! Да в этом ли году приключилось? Может, в прошлом?..

Ну и выяснилось, что одну и ту же куру раз по пять приносили и раз по пять за нее получали. После этого сердобольный заведующий стал вакуличевские жертвы отбирать, у себя оставлять, и как-то все само собой прекратилось — не то деревенские хохлатки поумнели, не то пропала у них охота соваться под колеса, которых, как известно, четыре и за которыми, как известно, не углядишь...

С этого и началось. Посудачили, посмеялись на счет неразменных куриц и забыли. Но Федор Трофимович запомнил, и, как только перешли под его владение фрукты и овощи на базе, он по куриному примеру пустил и апельсины,

и лимоны, и яблоки. Составлялся акт о том, что такие-то ящики тронулись, подлежали списанию, и, в самом деле, на какое-то время они исчезали, а потом верные люди доставляли их — неразменных — обратно, и снова акт, снова в расход... Плоские ящики с красивыми наклейками были куда лучше глупой курицы. Та, полежав, выдавала себя; ящики же с фруктами от лежания только становились желаннее. Разница была и в том, что простодушная птица действовала в одиночку: сама попадала под колеса, сама протухала, сама просила оплаты; красивые же ящики Федора Трофимовича имели двойников: один духовитый ящик списывался пять раз, а пять настоящих продавались «налево». По целинным масштабам, по тому, сколько слали сюда товаров, ящиков-оборотней на базе, где пристроился Федор Трофимович, было, понятно, не мало... Иногда, правда, они оборачивались всего два раза, но и то, значит, не без пользы прожили свой век.

После окончания фруктового сезона навернулось еще одно дело — со строительными материалами. Оно напомнило начало всех начал — далекий, из времен эвакуации тес. Но уже менее безобидный. Тогда тес просто *остался* от ремонта клуба и пошел молодожену Федору на перегородку; сейчас же Федор Трофимович *постарался*, чтобы он остался. Этим делом и завершил свое интересное пребывание на целине.

Хотя соблазн и еще был. Так, верные дружки предложили заняться *пересортицей* — довольно ходовым и не хитрым занятием по превращению товара третьего сорта во второй, а второго — в первый, но не встретили сочувствия у своего бывшего компаньона. Дело в том, что эти чудо-превращения были не только ходовым занятием у торговых воров, но и ходовым судебным делом, после разбирательства которого чудотворцам охотно и тотчас предоставлялась казенная машина, довозившая их до узилища.

О нет, он вовремя — да и не один — отвалился от деятельной компании, вовремя вернулся в Москву, вовремя, ссылаясь на сбережения и на какие-то большие премиальные, стал строить дачу, обзаводиться серьезным хозяйством... Но вот прошло время, и немалая толика целинных доходов, которая была припрятана, разошлась. Маячило одно интересное дело, но он сейчас один — былых степных соратников разбросала жизнь, а новые еще не объявились, и было как-то боязно.

2

Деньги нужны были не только потому, что от целинных благоприобретений мало осталось, а и потому, что существовала пышнотелая, вальяжная раскрасавица Сюзанна Ивановна — кассирша из магазина на Сретенке.

Бывают люди с поздним проявлением истинных желаний. Поступает молодой человек учиться на лекаря, но по прошествии времени оказывается, что у него душа лежит не к печени и селезенке и не к уху-горлу-носу, а к неживым винтикам-шпунтикам, которые в неживой машине или приборе зарождают жизнь; стремится человек к лабораторным пробиркам и штангласам, а потом все побоку,— оказывается, только мореходное училище с просторами, с морями и океанами было его настоящим призванием...

Так и с любовью. Когда Федор в далекие теперь годы эвакуации добивался Надежды Львовны, ему казалось: вот это настоящее! Это убеждение поддерживалось еще и тем, что тогдашние диванные философы тоже имели виды на скромную, умную девушку. И его это понуждало проталкиваться к ней. Но когда брак совершился, когда эвакуационное житье кончилось и открылась настоящая жизнь, которую Федор стал приспосабливать, так сказать, к своему образу и подобию, то оказалось, что вывезенная из города К. девушка-учительница уже мало соответствовала этому образу и подобию.

...Это было взаимно. Она тоже чувствовала, что с каждым годом Федор для нее все дальше, все отчужденнее. И здесь тоже сказалось время. Правда, и тогда, в эвакуации, он во многом был для нее неродной, чужой, но были два обстоятельства, которые в то время помирили ее с этим: он ее любит, он ее добивается и второе — в том трудном, военном времени Федор был для нее крылом, защитой... Но этого чувства защищенности хватило ненадолго. Когда началась нормальная жизнь, когда Надежда Львовна вернулась в школу, вернулась к кругу своих любимых занятий, привычных дел, прежних знакомых, Федор как устроитель быта жизни, как крыло от всех превратностей отодвинулся; утешение же, что она любима, уменьшалось по мере того, как замечала, что былое чувство Федора тает.

И она поняла свою ошибку, совершенную в далеком К. Было два выхода: расстаться или, примирившись, жить дальше. Первый выход был нетруден, если бы кто-то был на примете — так уж заведено у несчастливых супругов: легче уйти, когда тебя кто-то отзывает, чем уходить в пустоту, в холостую жизнь... Впрочем, сильный, решительный характер с этим, конечно, не посчитался бы, но она не принадлежала к таким характерам. И жизнь пошла дальше. Единственное, что она взяла себе в утешение,— это надежда, что Федора можно как-то изменить, сделать более родным по духу.

Привлекательные для нее достоинства Федора — любящий человек и защитник в трудную минуту,— исчезая или не находя применения, обнаруживали, оголяли истинный облик Федора, которого она до этого старалась не замечать или подыскивала ему оправдания. Она помнила один день из эвакуации, который она потом хранила в памяти как «день позолочения»,— Федор золотой краской выкрасил тогда и ножки своего счетверенного чудо-примуса, и ручки у дверей, и шпингалеты на окнах... Как сейчас, помнился иронический возглас покойницы мамы: «Это уж совсем не Париж!» — и удивленные, ничего не понимающие глаза Федора: «Ведь это же золотая краска! Красиво!» И тут же она тогда нашла оправдание: «Ну, так человека воспитали — вот и все».

И с такими оправданиями-извинениями она долгое время жила. Случалось Федору сказать какую-нибудь грубость, обнаружить бестактность, она спешила объяснить: «Нет, Федор хотел сказать (и она приводила, что он хотел сказать), но получилось, будто он... (и она приводила, что получилось)».

Случалось, что Федор не читал того, что все читали, или не знал того, что все знали, и тогда Надежда Львовна говорила: «У него много работы. Не успевает...» Или: «У них дома не любили читать. Отец был вечно занят...».

Ссылки на семейные традиции и преемственность, о чем она знала со слов и Федора и Марфы Васильевны, почему-то казались ей самыми оправдательными. Когда заходил разговор о том, почему у Федора Трофимовича нет близких друзей, Надежда Львовна отвечала, что у его братьев тоже нет друзей; когда спрашивали, почему он так неохотно ходит в театр, она, хотя и подшучивая над этим, отвечала: «У них в семье не любили тратить деньги попус-

ту»; когда близкая подруга сказала: «Знаешь, твой Федор какой-то сам за себя. Поэтому-то он и людей не любит. Но не всех — ловких, жуликоватых, я заметила, он уважает...» — Надежда доверительно ответила: «Отец-то купец был! Хоть и мелкий, но они все такие!»

Та же подруга, наслушавшись этих оправданий и объяснений, как-то сказала:

— Слушай, зачем ты это? А если бы он убил человека, ты бы тогда объяснила, что и дедушка и двоюродный брат у него тоже были убийцы. Тебе от этого легче, что ли?

Нет, конечно, не было легче, но ей казалось, что ее опрометчивость в выборе мужа как бы раскладывалась и на его родню.

— Пойми! — говорила та же близкая подруга.— Таких странных браков, как твой, не один!.. У нас, помню, дома в детстве была одна милая, но какая-то уродливая собака. Отец всегда объяснял: «Это помесь дога с чемоданом». Вот и у вас, ты меня прости, то же... Но надо искать какой-то выход... Жить с человеком чужим тебе по духу, жить без любви — разве это достойно?..

— Это не так просто...— отзывалась Надежда Львовна.— Он ко мне добр, заботлив...

«Ей хорошо так говорить! — думала она после ухода подруги, сказавшей ей много прямых, неприятных слов.— Она одинока, поэтому так легко, с маху судит! А если бы была на моем месте!..»

Надежда утешала себя — всегда досадно, когда кто-то показывает на твои ошибки. Но ведь это правда! Много позже, в разговоре с молодой Щегольковой, она сама осудила женщин, боящихся выйти из-под крыла, даже если оно чужое...

Но тогда еще ей не хотелось принять осуждение подруги, хотелось оправдаться, самоутешиться. И, оставив утешение о семейных традициях, она взялась за новое: нет, Федор не безнадежен, его можно как-то изменить, сделать ближе к себе. Она прочла немало книг, посмотрела немало фильмов о перевоспитании. Правда, там, в книгах и в фильмах, речь обычно шла о подростках, но Федор по своему духовному развитию, в сущности, тоже еще был несмышленыш. Она вспомнила давнишнее сравнение: рояль с веревками. Кто знает, может, удастся натянуть настоящие струны?..

И она стала с ним заниматься. Она водила его на лек-

ции в Политехнический, на спектакли, давала читать книги. И не просто водила и давала, а старалась расспросить о впечатлении, чтобы Федор поразмыслил, призадумался. Ученик был не из способных — она-то знала это,— но терпению ее учили еще в педагогическом институте.

— Ну, как тебе понравилась главная героиня?

— Ничего... Аппетитная такая бабенка.

— Я не о том. Права она была или не права?

— Ну, конечно, права. Раз работа ей неинтересна, мало дает...

— Да, но она своим уходом подводит товарищей.

— Ах, оставь! — и Федор махал рукой.— Это все красивые слова! В жизни все иначе. Придись это мне, и я бы то же сделал...

— И не было бы совестно?

Федор задумывался, и она радовалась, что зацепила за что-то живое, душевное, доброе. По его красивому, голубоглазому, дородному лицу проходили отблески каких-то мыслей, чувств...

— Не то что совестно...— начинал он,— а муторно и хлопотно! Ведь как будет? Начнут меня прорабатывать, а ты виновато стой и раскаивайся! А эти проработчики сами так же сделали бы! Но для показа, для красивых слов они, конечно, соловьями бы разливались. Противно! Не люблю... Это не мне, а им должно быть совестно!

— Так что же, на земле добра нет? Только в него играют?

— Ну, это, знаешь, уже философия! А мы, как говорится, «гимназиев не кончали»... Ты не помнишь: семга у нас в холодильнике осталась? Хорошо бы сейчас прийти домой да под семгу хватить...

3

Подобных разговоров — по увиденному, по услышанному, по прочитанному — было немало, и у воспитанника что-то пробудилось, зашевелилось; во всяком случае, он стал думать, чувствовать как-то *лучше*. Надежда Львовна радовалась.

Но оказалось преждевременно.

В тот год в меховой торговле не было меха, и на витринах, спустив толстые, пушистые хвосты, висели только чернобурки, пугая прохожих четырехзначными ценами. И вдруг на всех прилавках меховых магазинов появились

цигейковые мужские шапки вроде поповских камилавок. Их стали быстро разбирать, в том числе и женщины: особым кокетливым надломом они делали их пригодными и для себя.

Попали шапки и в магазин головных уборов, где директорствовал Федор Трофимович перед своей поездкой на целину. Он разделил полученный товар на три части. Одну пустил на полки, в обычную продажу; другую с хорошей надбавкой отвалил приезжим молодцам, и те, запихав черные и коричневые камилавки в чемоданы, разъехались по далеким базарам; третью — просто и безобидно — попридержал.

— Все-таки эти слесаря-частники сплошь жулики! — сказал однажды Федор Трофимович, хлопоча в ванной комнате.— Ты смотри, Павел хотел поставить весь немецкий душ, а здесь только смеситель воды немецкий, а краны собрал из разного барахла... А я, дурак, кроме оплаты, еще ему и шапку из магазина дал, как обещал...

— Это что-то ты переборщил! — отозвалась Надежда Львовна.— Ведь сколько шапка стоит!

— Так не бесплатно же. По нормальной цене...

— Почему же ты тогда говоришь, что «дал»? Он мог и в другом магазине купить.

— Хватилась! Шапки эти давно везде распроданы. А я попридержал десятка полтора-два для нужных случаев... Ну, кому-нибудь в виде благодарности...

— Подожди, это значит...— Лицо Надежды Львовны потемнело.— Это значит, если называть вещи своими именами... Ну, в общем, это нечестно! Какое-то жульничество...

Федор Трофимович, несмотря на хмурый взгляд жены, на ее обличающий тон, не мог не рассмеяться. Вот святая простота! Все равно как если бы бежал слон или пусть даже собака и ненароком лапой придавили какую-нибудь букашку — разве это грех! Ему, понаторевшему уже в более сложных торговых комбинациях, просто смешно это слушать. Да что там сложные комбинации! В сравнении даже с таким нехитрым делом, как шапки, отданные с накидкой приезжим перекупщикам. Это попридержание товара — такая безобидная чепуха! Это и святой сделает...

— Ну, зачем такие слова! — с простодушной улыбкой сказал он.— Какое же здесь жульничество? Этот Павел заплатил за шапку по казенной цене, деньги уплачены

не мне, а в кассу. Вот и все! Государство ни копейки не потеряло.

С такими простодушными голубыми глазами все ей спокойно объяснил!.. И она вдруг вспомнила много таких случаев; они объединились в памяти, сгруппировались, и ей открылось что-то новое в его жизни, скрытое от нее. Оно, как стена, стояло перед ней, и сколько ни бейся — стена...

Так выяснилось, что воспитанник, который, казалось, от негласных занятий с ним стал думать и чувствовать как-то л у ч ш е, на самом деле не продвинулся. Нет, струны не натянулись! Он только на словах — чтоб попасть в тон своей учительнице — иногда (о том, что его близко не касалось) г о в о р и л об этих думах и чувствах так, как ей хотелось.

....Дело в том, что Федора Трофимовича тяготили эти занятия на тему «Как жить». Во-первых, он сам прекрасно знал, как именно надо жить; во-вторых, то, что его считали как бы учеником, то есть обнаруживали в нем какую-то неполноценность,— хотя все это, конечно, был чистый вздор! — раздражало его. Думай так только его просвещенная жена, он отмахнулся бы — не в этом, так в другом, например в хозяйской хватке, она тоже была несильна,— но он чувствовал, что так думали и те ее подруги, знакомые, которые бывали у них в доме. Вот это-то и заставляло его иной раз кривить душой — говорить не то, что он думает по всяким этим жизненным, деликатным вопросам. Подделывался Федор под чужой тон не часто, больше отмалчивался, но все это вызывало досаду, раздражение, ибо он, не желая, сопротивляясь, все же чувствовал себя в доме действительно каким-то ущербным, которого какие-то «шляпы» (так он называл всех, не имеющих практической хватки) как бы ведут на поводу...

Но вот он поехал на целину, вырвался на свой стратегический простор, и все изменилось. Уже в его письмах, написанных любимым им чернильным карандашом, Надежда Львовна почувствовала новый тон. Этот тон был не то решительный, не то снисходительный, но за ним угадывалось, что Федор живет какой-то другой жизнью. Он ей советовал, высказывал свое мнение о разных делах и событиях, отдавал распоряжения по дому — и все это смело, веско. Воспитанник, отправившись в далекие края и пожив там, как бы возмужал и сам теперь учительствовал...

И верно, Федор Трофимович, очутившись на целине и

потеряв из виду тех «шляп», которые чему-то его наставляли, зажил по своему образу и подобию и тотчас почувствовал себя выше, умнее, чем его считали дома и чем порой он сам себя считал. Этому просветлению, конечно, способствовала большая удача в работе — та безыменная курочка-ряба, которая, ничего не зная, снесла для сообразительного фруктовщика золотые яйца.

С целины он вернулся другим человеком — хозяином жизни, главой семьи. И хотя по письмам Надежда Львовна догадывалась о перемене, но думала, что это, так сказать, рожденное жизнью в далеком, необжитом крае. Нет, это продолжалось и в Москве. На второй или третий день по приезде он сказал, как об уже решенном, обдуманном:

— Надо строить дачу.

Она удивилась: какую дачу, на какие деньги? Он объяснил: у него на примете есть дачный кооператив, а деньги не сразу же все...

— Да, но все-таки надо много...

— Я должен получить большие премиальные... Кроме того, я привез же с собой. На первые взносы хватит... А может, и не на первые.

Да, конечно, не только на первые — курочка-ряба снесла столько, что сразу можно было бы оплатить небольшую кооперативную дачку, но лучше сослаться на какие-то будущие премиальные, а половину курочкиных даров отложить в резерв.

И по прошествии времени дача стала строиться. Эти дни и месяцы запомнились Надежде Львовне как расцвет, зенит хозяйственной деятельности Федора. Все свободное время от службы, а то и покидая ее (старинное, безотказное: «Директор поехал на базу») он — в помощь кооперативным усилиям — хлопотал, доставал, продвигал, составлял, согласовывал, отгружал, получал, дополучал и доукомплектовывал все материалы и товары, нужные для дачного строительства. Конечно, что получше и попригляднее — доброхотные помощники этим и вознаграждаются — шло на его дачу. Да и сама она побыстрее строилась.

* * *

Под этот хозяйственный взлет и парение Федора произошли и другие события. Вернувшись в Москву и поработав то там, то здесь, он вскоре получил интересное место

(«Товарищ ведь с целины приехал!») директора мехового магазина — тихое и красивое пристанище с черно-бурыми лисицами и баргузинскими соболями. Впрочем, тихое, пока не завозили ходового товара... И второе событие — уговорил жену уйти с работы.

— Ну, что у нас за жизнь! — все чаще говорил он.— Какой-то ералаш! Никого дома нет...

И жаловался на то, что у него на руках и магазин, и строящаяся дача, что, придя домой, он находит только усталую мать, что у жены какие-то педсоветы, совещания и консультации, что Ксюшка торчит у ворот и, как все теперешние домработницы, норовит перебежать на производство...

Он и раньше заговаривал, не уйти ли ей с работы, заняться домом, но обычно высказывал это робко, предположительно, не объясняя, зачем это нужно, или выставляя душевные доводы: они, видишь ли, бывают вместе, в сущности, только по воскресеньям, или ссылаясь на то, что вот у Марфы Васильевны уже не те года, чтобы одной вести дом. Сейчас же на возражение жены он сказал ей прямо:

— Ну пойми, к чему твои шестьсот рублей, если домработница с питанием стоит не меньше!

Время от времени Надежда Львовна встречала женщин (особенно позже, когда дача была готова,— дебелых дачниц), которые с гордостью говорили: «Меня муж снял с работы». Это почему-то считалось таким благодеянием, которым можно было закрыть любые семейные невзгоды. Когда же Надежда Львовна спрашивала: «А как же ваша работа? Вы же специально учились, любили ее?..» — на раздобревшем, как бы засыпающем лице собеседницы появлялось какое-то движение мысли и чувства.

— Да, конечно,— сожалительно говорила она,— но муж утверждает, что если не держать домработницу, то это будет одно и то же.

Нет, она не понимала этих молодых клушек-наседок, отказавшихся не только от любимого труда, но и от необыденных интересов, от общения с людьми, с чем связана всякая работа. И этот дурацкий, непоколебимый довод о домработнице!..

Но случилось так, что именно это-то, ею осуждаемое, она сама же и сделала.

В грубой силе есть какая-то своя убедительность. В другой раз видим: сидит за зеленым столом с могучей кафед-

ральной чернильницей нечто дремучее, а около него, поддакивая и соглашаясь, стоит милый, деликатный, с одухотворенным лицом человек. Нет, не холопство у него в глазах, не умиление, а сознание, что с дремучим и он и другие работают уже не первый год, что с ним, хочешь не хочешь, считаются, ибо у дремучего есть деловая, практическая хватка, а другой раз бывают и разумные мысли.

Такой действующей силой в Федоре оказался тот самый хозяйский тон, который у него появился еще в письмах с целины и который окреп, утвердился после его возвращения из дальних краев. От бывшего воспитанника ничего не осталось — он распоряжался, командовал, устанавливал, что хорошо, что плохо, что белое, что черное. И везде была удача: и со службой, и с постройкой дачи, и дома.

И Надежде Львовне, невольно захваченной этим восхождением в гору, показалось, что уход ее с работы будет тоже к лучшему, к удаче. Была, правда, и другая причина — ей в этом году дали десятые классы, которые требовали большой подготовки,— но она, конечно, преодолела бы это, если бы не настояние мужа, если бы не предположение, что все будет к лучшему.

4

Но это не было к лучшему. Оставив работу и бывая теперь больше дома, чаще видя Федора, она пристальнее взглянула на жизнь и уже бесповоротно утвердилась в том, что разные они с Федором люди, разные у них интересы... И уже окончательно отошли всякие упования что-то изменить в его натуре. Тут, может быть, больше всего сказался ее уход с работы: он теперь первая персона в доме, а жена, так же как и мать, лепятся около него, существуют при нем...

Что же касается самого Федора Трофимовича, то уход жены с работы тоже ничего ему не дал. Дело было, конечно, не в тех шестистах рублях, которые освободились после увольнения домработницы и которые уравновесились пребыванием Надежды Львовны дома, но и то благоденствие у домашнего очага, о котором мечтал Федор, не принесло ему удовлетворения.

Да, откинутая теперь школьная суета с педсоветами, консультациями, всякими совещаниями и появившиеся вместо них хлопоты по хозяйству (прекрасные хлопоты!)

приближали жену к той настоящей, правильной жизни, к тому образу и подобию, который был мил сердцу Федора. Но надо ли это было ему?

В исчезающей любви часто одно принимается за другое, причина за следствие. Кажется, что если разонравившаяся женщина или разонравившийся мужчина перестанет громко смеяться, или перестанет спать после обеда, или перестанет носить желтое платье или какую-нибудь дурацкую соломенную кепку и так далее и прочее — что не нравилось, что раздражало,— то любовь тут же и восстановится.

Нет, конечно, ничего не восстановилось, ничего не изменилось с отказом Надежды Львовны от любимой ею — и ненавистной ему — работы. И убывающая — а может быть, уже и ушедшая — любовь сделала свое обычное дело: привела новую...

* * *

У Федора, как и у многих людей, чувство началось с сильного внешнего впечатления.

...Первое, что увидел он у кассирши Сюзанны Ивановны,— это руки: мощные, округлые, с нежной золотисто-розовой кожей. Она плавно, как в танце, двигала ими, перенося их с пластмассовой зеленой тарелочки, на которую покупатели универмага клали деньги, до громыхающей, усеянной кнопками кассы. Потом — шею. Тоже полную, литую, переходящую в туго затянутую в серебристый трикотаж грудь. Они так и сидели друг против друга, соприкасаясь мощными формами: бюстоподобная никелированная касса «Националь» и полная, крупная, тоже серебристо-никелированного цвета, кассирша.

Разглядел Федор и лицо. Сероглазое, обрамленное мелкими желтыми кудряшками, с небольшим — от пудры будто бумажным — носиком, и полные, румяные, манящие губы...

Не видя, Федор подал деньги, чек и медленно, тоже не видя, потянулся за сдачей... Получив покупку и обратясь к прилавку спиной, стоял не двигаясь — тут открылась новая красота. Было жарко, и кассирша распахнула дверцу своего стеклянного теремка, и он увидел крутые, сильные бедра, толстую, красивую ногу...

Федор Трофимович зачастил в универмаг — то одно надо купить, то другое... Сперва улыбнулся ей, потом заговорил. Говорить было трудно: мало того, что приходи-

лось сгибаться к полукруглому кассовому окошечку, но еще и, задевая кавалера по носу, протягивались туда же чьи-то руки с деньгами и чеками. Нет, царевну надо было вывести из стеклянного теремка...

И вскоре вывел, стали встречаться — благо и универмаг и меховой магазин Федора закрывались в одно и то же время.

Сюзанна Ивановна оказалась вдовой з а в е д у ю щ е-го. Так было правильно назвать покойного, ибо специальности у него никакой не было, а заведовал он то протезной мастерской, то булочной, то химическим складом, то кинотеатром...

От этих трудов накопились кое-какие деньги, и з а в е д у ю щ и й, уходя от московской тесноты, вознамерился было построить небольшую дачку, но средств ,увы, хватило только на дощатую времянку. Стал хлопотать о рассрочке, о дотации, о разделении пая, но, так и не выхлопотав, перешел в лучший мир. Сюзанна Ивановна, оставшись одна и забросив все житейское, суетное, в том числе и времянку, вся отдалась тоскливому, просто непереносимому чувству одиночества. Добрые люди посоветовали: чем сидеть кукушкой дома среди четырех стен, лучше выйти на народ, взять работу. И она поступила кассиршей в магазин.

Через год около ее стеклянного, но напоказ всем уединения и стал похаживать некто немолодой, но статный, представительный...

...Федор Трофимович нашел в Сюзанне Ивановне ту женщину, которую, может быть, только потому не искал, не жаждал, что не догадывался о существовании подобной. Тут было как бы осуществление всех идеалов. Их было немного, но зато все они оказались налицо. Во-первых, новая любовь была в хорошем, обольстительном теле; во-вторых — как оказалось позже — работящей, расчетливой хозяйкой; и, в-третьих,— может быть, самое главное — чувствовала и почитала превосходство Федора во всем: в уме, в сообразительности, в житейской хватке, в таланте жить и процветать.

Тут, конечно, не было и намека на ученика и учительницу,— что еще не так давно существовало у Федора дома,— его не наставляли, не поправляли и даже не сносили молча его командование и распорядительство, как было теперь дома с женой,— наоборот, глаза доброй, послушной Сюзанны Ивановны смотрели на Федора Трофимовича

с восторгом, с обожанием; все поступки и мысли его были умны, правильны, прекрасны...

Однако, несмотря на все это, Федор не спешил расстаться с Надеждой Львовной и начать новую жизнь с Сюзанной Ивановной. Тут сказывалось бремя накоплений. По существующим законам при разводе он должен был все благоприобретения разделить с прежней женой пополам. Будь он рядовой учрежденский старатель, у которого ни кола, ни двора, а только необходимое для жизни,— все было бы просто. А тут дача, машина, обстановка — страшно было подумать... В памяти живо еще стоял случай с дачей Евстигнеевых. Перессорившиеся, дошедшие до бешенства супруги наняли двух дюжих мужиков, и те, взобравшись на крышу со страшной, повизгивающей продольной пилой, осенили себя крестным знамением и, поплевав на руки, перепилили злосчастную дачу пополам: крыша, стропила, бревенчатые стены, окна — до фундамента... Конечно, у них с Надеждой так не будет, но все равно как-то придется делить...

И, всей душой отдавшись новому чувству, он все же отвел Сюзанне Ивановне приватную роль. Вечера в одном из переулков близ Таганской площади, которые бывали раз-два в неделю, проходили в бурном, будто молодом угаре, но дальше этого не шло.

Неожиданно пришло новое. Летом к Сюзанне Ивановне в ее таганское пристанище приехали родственники повидать Сельскохозяйственную выставку. Встречаться стало негде, и пылкая возлюбленная вспомнила про забытую времянку, оставленную ей в наследство заведующим.

В первый же свободный день они оба поехали туда, и дощатая времянка радушно приютила их.

...Лежали, смотря в потолок, оклеенный белыми, кое-где отставшими и пыльными обоями. Федор осторожно потянул руку, на которой покоилась голова в желтых кудряшках, и достал с тумбочки папиросы.

— А у тебя тут ничего! — сказал он, закуривая.

— Ну что ты! Все в запустении...

Ее удивило, что это говорит он, у которого — она знала — была образцовая дача.

Он не ответил, думая о чем-то. Не докурив, оделся и вышел наружу.

Обошел дачный участок — необработанный, необжитой, такой, каким отпустила его сама природа: то дерево, то кусты, то дремучая крапива. Постоял, покачиваясь с каблука на носок, с носка на каблук...

— А у тебя тут ничего! — повторил он, входя во времянку.— Можно дело сделать... Скажи, бумаги на участок все целы?

Сюзанна Ивановна стояла перед зеркалом полуодетая, с платьем в руках. На ней было красивое голубое белье, которое он час назад, конечно, не заметил, но которое ей хотелось показать. Поэтому, надев белье, а платье держа наготове, она медлила, ожидая шагов Федора.

— Ах, отвернись, я сейчас оденусь! — сказала она, поворачиваясь лицом и показывая прелестную вышивку на рубашке.

Он обошел ее полное, но еще стройное тело и поцеловал сзади, где никаких вышивок не было, в голую, пахнущую какими-то анисовыми духами шею.

— Ой, щекотно! Какие бумаги? — Она озорно, по-девчоночьи вскрикнула, поежилась, застенчиво поведя толстыми сильными плечами.— Ну, бумаги целы, а что?

С этого и началось. В этот день бегло, мельком, а позже — обстоятельно, посоветовавшись со сведущими людьми и уже держа листок с цифрами, Федор изложил Сюзанне Ивановне план действий: на ее участке надо построить дешевую, но достаточно объемную доходную дачку на трех-четырех летних съемщиков. Однако и зимой дачка не должна пустовать — со студенческими общежитиями все еще нехватка, и близость такой дачи-общежития к Москве будет соблазнительна для хозчасти какого-нибудь вуза. Тип постройки надо взять сборный — лучше всего было бы соединение двух финских домиков. И быстро, и дешево, и скорые доходы.

План был принят, оговорен (чьи расходы и как делятся доходы, чьи труды, чей участок и так далее), а также закреплен в нотариальных расписках, сущность которых фигурировала в общей традиционной, а потому безобидной форме.

Однако все получилось не быстро и дешево, а долго и дорого.

Люди, часто играющие в карты, утверждают, что есть счастье игрового дня: оно приходит с самого начала и, как сияние, весело, щедро возносится над игроком и держится

до конца его игры; и наоборот — не пришло, и черный свет несчастья стоит недвижно, обреченно освещая взмокшие руки, угрюмый лик сегодняшнего неудачника.

Так вышло и у Федора. Насколько счастливо, споро и интересно для него шло создание собственной дачи, настолько тут, на новой стройке, все летело под откос, и черный свет неудачи озарял обломки крушения...

Началось с того, что участок оказался с высоким уровнем грунтовых вод и даже для неглубокого фундамента пришлось устраивать довольно сложный и дорогой отвод вод. Затем покупка двух сборных домов, которые Федор Трофимович намеревался достать через верных людей за полцены, как отбракованные, не состоялась: ревизия увела этих людей, и те в расстройстве чувств прихватили и уже полученные с Федора суммы, которые, впрочем, позже вошли в конфискацию. Пришлось доставать домá уже за полную цену. Но тут появился жучок-точильщик, которому понравилось это полноценное дерево, и он стал в нем вытачивать свои ходы-узоры. Потом — одно к одному — прораб оказался растяпой, затянувшим и потому удорожившим все дело.

Деньги текли — а Федор был главным вкладчиком в это дело,— и скоро пришлось тронуть целинные, отложенные. И еще раз, и еще... Кроме того, любовь у таких натур, как Федор, неслась по его жизни со стародавним купеческим ухарством — у Сюзанны Ивановны появлялась то та обновка, то эта. Потом опять та и опять эта. Так у возлюбленной было уже две шубки, не считая прежних; два одинаковых, с голубым камнем, золотых кольца; два патефона — синий и розовый; один — но совершенно ненужный — буфет с дубовыми колоннами; три разномастных кресла...

И пришел день, когда человек запустил руку в мешок, а там — на донышке... И надо было думать о пополнении. И думать скорее! Сюзанна Ивановна могла подождать с дарами, а вот злосчастная, погибельная, но начатая и уже не останавливаемая стройка дачи требовала новых и неотложных жертвоприношений...

...Человек в дни одиночества вспоминает благословенное время любви; в дни неудач — удачливое время. Так мысли у Федора Трофимовича в поисках выхода из затруднительного положения пришли к целине, к курочке-рябе. Вот было время!.. Вот бы повторить! И он прикидывал: там

был склад, тут — магазин... Будь у Федора побольше опыта в таких делах, он бы увидел, что его курочке-рябе тут делать нечего: там, на целине, были скоропортящиеся фрукты, сейчас же у него в магазине — долговременные, не подлежащие никакому списанию чернобурки да соболя. И стал бы он тогда искать другой, более реальный, более осуществимый выход.

Но у Федора воображение далеко не залетало, и потому образ курочки-рябы, принесшей уже однажды ему счастье, все стоял и стоял перед глазами... Да, конечно, продать, обернуть дважды, трижды его теперешний товар нельзя, но тем не менее он упрямо держался мысли, что надо действовать не где-нибудь в чужом, незнакомом месте, а, как и тогда, на подведомственном ему поприще. Так ученики танцуют от печки.

И как только он выбрал поле деятельности — свой меховой магазин,— он стал действовать.

* * *

Да, Федор Трофимович выбрал, назвал в душе это выбранное «смелым делом», но вот смелости-то и не хватало! На целине он был в хорошей компании, а сейчас надо идти одному — он даже Сюзанну Ивановну не мог в это посвящать... Все подготовлено, обдумано, и можно было в любой день, но хоть бы какой-нибудь локоть рядом, какой-нибудь подручный... А время не ждет — на Сюзанниной даче от безденежья все остановилось.

С этими-то мыслями и с решением больше не тянуть и приехал сегодня Федор на дачу. Он отмахнулся от слез жены, от её рассказа о приходившей к ней молодой Щегольковой («А-а! Надоело!»), и Надежду Львовну удивило лицо мужа: темное, неподвижное, с каким-то затаенным блеском глаз. Они молча взошли на террасу, молча прошли над подпольным узником — изможденным, притихшим Ужуховым. Молчал Федор и за ужином.

— Завтра плотники небось ограду придут чинить! — сказала сыну Марфа Васильевна.— Как подряжались, в пятницу.

— Пускай...

Это тоже было необычно — Федор всегда и с удовольствием вникал во все хозяйственные дела.

После ужина он долго бесшумно ходил по потемневшему саду. Огни спичек, когда он прикуривал, вспыхивали то там, то здесь, будто метались...

Наутро Федор Трофимович уехал, как всегда, в магазин. Однако Ужухов, припав к своему глазку, увидел в хозяине что-то необычное — и в походке и в лице...

ГЛАВА ПЯТАЯ

ВНИЗУ

1

На следствии Ужухова спросили:

— Скажите, на следующий день, то есть в пятницу двадцать пятого августа, когда Пузыревский утром уезжал в магазин, не заметили ли вы каких-либо приготовлений?

— Ну, как полагается, собрали ему на стол. Так что он попивши-поевши поехал.

— Нет, не о том... Не брал ли Пузыревский с собой чего-нибудь в машину? Ну, мешки, свертки какие-нибудь?

— Не видел... Нет, налегке сел и тут же уехал.

— Ну хорошо... После его отъезда жена отправилась на станцию за покупками, и, следовательно, мать Пузыревского осталась на даче одна. Почему вы не воспользовались этим временем? Вы так его ждали.

— А плотники! Хоть они и в стороне ограду чинили, а могли услышать.

— Значит, днем двадцать пятого вы не потому не осуществили свое намерение, что отказались от него, а потому, что вам мешали его осуществить.

— Точно!.. Они чуть не до вечера тесали и стучали.

* * *

Да, плотники работали до четырех часов дня, и Ужухову некуда было деваться от стука их топоров. Стук держал его в подполье, словно сторож с колотушкой, отгоняя воров, ходил вокруг. Кроме того, стук будил, тревожил затихшую было зубную боль...

Вчера поздним вечером, следя за Пузыревским, который показывался на темных дорожках то в одном конце

участка, то в другом, Ужухов вдруг почувствовал укол в правую щеку. Не обратил внимания, но ночью ударила настоящая боль.

Как всегда, ничего не помогло — ни вода, ни водка, взятая на зуб. Сдернул с кирпичей, которые опять, как и в прошлую ночь, лежали в изголовье, меховую шапку и прижался щекой к холодному, шершавому камню. Нет, проклятого и это не брало! Тогда нахлобучил на себя шапку, по-зимнему опустил наушники,— может быть, тепло его утихомирит. Мучительно хотелось разогнуться, встать во весь рост; так и казалось: встанешь, и боль как рукой снимет...

Ужухов ворочался, метался в темноте, боясь вызвать шум. Уже думалось: черт с ним со всем — пускай накрывают, хватают, лишь бы дали каких-нибудь капель! А уж перед рассветом и совсем невмоготу: ну просто вылезти, постучать в окно — хоть старухе в окно — помогите!..

И, как всегда, неизвестно почему, боль вдруг затихла. Да что там затихла — прошла! Бывает же такое счастье!.. На душе — паралик ее расшиби! — парное молоко. Хочется вылезти из подполья, постучать старухе в окно: «Бабушка, прошло! Понимаешь, прошло!»

Заснул крепко — кирпичи уж не кирпичи, а будто подушка на подушке, а на той еще подушка... А вокруг солнечная полянка, вся в землянике,— хочешь, лежи, а хочешь, встань во весь рост... Да что там в рост — подпрыгивай, подскакивай, сколько влезет, головой о потолок, не бойся, не стукнешься... Наверху-то небо!.. Потом нежданно-негаданно прикатила на полянку Аграфена Агафоновна, и тут вдруг все по-хорошему — ни решеток на машине, ни черного цвета, а просто «Волга», на которой Пузыревский ездит. И сама тетечка не базарная, не матерщинная, а будто благородная дамочка, что на витринах стоят: субтильная, тонкорукая, глаза с синей поволокой... Только свой темный платок, чтоб ее не разгадали, тетечка на себя накинула. Но тут ветер платком заиграл и темной бахромой по лицу витринной дамочки провел... Мать честная! Теперь это не тетечка, а Пузыревских старуха — серые, обвисшие щеки и глаза-щелочки. «Ты что же, милай,— шипит старуха,— сперва душить меня собирался, а потом насчет зубов ко мне прибежал!» И в щелочках-глазах угольки зажглись. «Не болтай зря, дура! — кричит парень на земляничной полянке.— Я только для острастки хотел,

чтоб деньги из дома вытрясти!» Но тут старуха вытащила из «Волги» доски и стала над парнем низкий навес сколачивать — доска за доской, доска за доской, пока все не сколотила, пока темно, как в подвале, не стало. Но и этого старухе мало — сверху курей выпустила, и те стали «пышено» клевать, да так резво, громко, будто не по доскам, а по самому темечку клювами стукают...

Ужухов проснулся от мерного, дробного постукивания. Открыл глаза — нет, не над головой, не по темечку, а где-то в стороне. Звук был новым в этом мире, в котором Ужухов жил второй день, и он тотчас поднялся и заглянул в глазок — туда-сюда...

На краю участка плотники ладили новую ограду. Молотки вгоняли гвозди в тесовые планки один за одним, мерно и звонко пристукивая. Плотников было двое: один белобрысый, новый, а другой тот черноусый красавчик, который работал на соседней стройке.

«Налево решил подработать».

Ужухову было все равно — налево или не налево,— но эта мысль привела другую: «Почему из остальных плотников с соседней стройки никто этим не прельстился? Совесть, значит, есть! Соблюдают».

В это время показался Пузыревский. Ужухов подумал, что по-хозяйски идет плотников проверять. Но он прямо к машине. И лицо серое, мятое, будто ночь не спал или на гулянке гулял,— такому бы опохмелиться, а не гвозди за плотниками считать. Одно понравилось в нем: сиреневый костюмчик, который он вчера как следует не разглядел. Ладный, дорогой и как облитой сидит, искрой на солнце играет...

После отъезда хозяина Ужухов только покосился на мешок с харчами — как бы опять не хватил зуб — и снова прильнул к глазку. Плотники по-прежнему, как дятлы, стучали, а когда смолкали, то слышны были, как и вчера, голоса женщин, находящихся в комнатах, и, как вчера, надо было сидеть у глазка, не упускать из виду калитку и опять ждать и ждать. Голова от бессонной ночи чугунная, невпроворот, перед глазами какая-то муть...

И вдруг мысль: не надо! Ведь пока плотники не кончат, не уйдут, все равно сиди как мышь. Старуха-то в случае чего небось голосистая окажется... И сразу радость — пока что можно завалиться спать...

На дорожке по направлению к калитке, к станционным

магазинам, показалась молодая хозяйка с сумкой, с авоськой — вот такую вчера весь день ждал... Но уже ни досады, ни злости — спать, спать...

2

На одном из кирпичных столбов, держащих дачу, горел красный, величиной с пятачок кружок предзакатного света, прорвавшегося сквозь какую-то щель. Сверху, с террасы, доносились голоса, которые, пока он лежал еще в дреме, казались гулом. Сон отходил, и голоса яснее. Сейчас говорила старуха:

— Нет, он чай пил не по-теперешнему...— со вздохами скрипела она,— вскипятил чайник, налил вчерашнюю заварку, хлебнул и убежал, как жулик... Нет, у него было все благолепно... Чайников алюминиевых и в помине тогда не было, а только самовар. Да и какой самовар! Например, с угольным душком или не бурлящий он не принимал. Сейчас же гнал обратно. Меня или Феклушу покойник гнал обратно. Или еще не любил, когда самовар что-нибудь напевал. Веселое-то они не напевают, а что-нибудь такое, с грустью. Это значит, вода перекипела и настоящего вкуса не даст. Да и примета есть такая. В общем, тоже гнал обратно... Нет, он любил, чтоб самовар был свеженький, горяченький, кипяточный — стоит, милый, на подносе и от жары, от удовольствия, что такой, сам подпрыгивает. Только пар столбом к потолку... Вот тут мой покойник Трофим Матвеич начинает сам чай заваривать. Тоже не просто заваривает, не по-теперешнему — в холодный чайник...

— Марфа Васильевна (это хозяйка вернулась со станции), есть такая шутка: «Какой теперь кипяток! Вот в старое время был кипяток так кипяток!»

— Чего?

— Я говорю, не скучно было жить вашему Трофиму Матвеевичу?

— А чего скучать? Люди жили в полное свое удовольствие. Когда мы в Кинешме проживали, то на летнюю жару для чайного прохлаждения у Трофима Матвеича был устроен нарочный подвал. Стены льдом обложены, а в середине, под лампой, стол для самовара. Одна чашка, одна стула — только для себя. Никого лишнего сюда не пускал, чтоб лед на стенах зря не таял... Ну, разве приглашал кого из купцов поважнее. Какую-нибудь первую гильдию с ме-

далями, чтоб поразить, чтоб пыль в глаза пустить. Сам-то он третий был, невеликий купец, а первую, конечно, удивить ему интересно было. Тут уж он льда не жалел, пусть от ихнего дыхания тает...

— А вас с Федором пускал?

— Не пускал... Да мы сами понимали, не ходили... Раньше, Надежда, все копейку берегли. Может, мы там с Федей льда-то растаем-надышим всего на грош, а это тоже деньги. Феденька по малолетству не очень это смышлял, все рвался в ледяную комнату. Ну, отец разок высек его, и он все понял — зря копейку не губи!

В это время на ступеньках террасы загремели сапоги.

— Ну, хозяйки, принимайте работу!

Это дятлы, которые наконец кончили стучать. Женщины пошли на участок вслед за плотниками, и Ужухов остался в какой-то гулкой и темной тишине.

«Весь день дуриком!..»

И верно: ночью метался от боли, а днем спал. Еще эти дятлы... Молодая сегодня, конечно, больше никуда не отлучится. Чего же ждать?.. Корешки говорили, что бывает л е ж к а и по три дня — дело такое норовистое... Ну нет — мерси, спасибо! Да и жратва на донышке. Так что же, дождаться темноты и смываться несолоно хлебавши?

Отпустив плотников, женщины вернулись на террасу. Молодая, видно, чем-то уязвила старуху — не то еще на террасе, не то сейчас, по дороге, и та стала оправдываться.

— Жили, говорю, не так, как теперешние, а в полное свое удовольствие! — скрипучим голосом говорила старуха.— Не только он, но и я тоже... Теперешняя жена после службы бежит какую-нибудь битую птицу покупать, потом целый вечер суп на завтра варит... А я, когда вышла замуж за Трофима Матвеевича, целый день на диване лежала, и передо мной только коробка с монпансье-конфетами... Никаких забот-хлопот, была у мужа на полном его вожделении. А теперь что?..

Молодая хозяйка чему-то засмеялась.

— На иждивении, Марфа Васильевна...— сказала она.— Вожделение — это другое...

И опять засмеялась.

— Ты чего? Ты что над старухой надсмешничаешь?

И она, осерчав, не слушая успокоений невестки,— видно, натерпелась! — начала честить ее и так и сяк.

Ужухов, привыкший среди дружков к снисходительному «бабы-дуры», плохо слушал перебранку, вспыхнувшую у него над головой. Да и свои заботы были: хотелось жрать, но боялся зуба, хотелось убраться к черту — устал, все надоело, но как сделать, чтобы не ждать ночи... Однако наверху что-то изменилось: уж не два голоса, а один, а второй — только всхлипывания.

— ...Не ту жену Феденьке надо было! Не ту! — долбила старуха.— Не фордыбачку, не указчицу, а помощницу, чтоб все в дом да в дом... Это верно, я на диване с конфетами лежала, но когда? Пока дашки-парашки были. А как революция подступила и все языком слизнула, я как засучила рукава, как начала шуровать! В шесть утра я уже на базаре, чтоб морковку с капустой дешевле на копейку купить... А у тебя разве дом на уме! Тебе бы только Феде перечить, только бы свою самостоятельность, свою дурь показать! Вместо мерси-спасибо ему одни твои фантазии... Живешь, как куколка, на всем готовом, а в ответ что? Еще над старухой матерью смеешься. А сама-то ты кто такая? И где только тебя, золото такое, Федор отыскал? Ведь с мамашей за ситцевой занавеской жили, одну корку хлеба пополам ломали... Как же, слышала!

В это время старуха, видно, зашлась от ярости и остановилась передохнуть. Молодая сказала что-то тихим голосом — Ужухов не мог разобрать,— но старуха выкрикнула:

— Не уйду!

Молодая повторила, и опять тихо, но уже раздельно:

— Выйдите вон!..

И что-то грохнуло над головой Ужухова — какая-то посуда — и осколки запрыгали по доскам... Пыль выбилась из щелей пола-потолка и мутным облачком стала опадать. По ступенькам террасы загремели испуганные шаги и, прильнув к глазку, Ужухов увидал старуху, быстро семенящую к калитке. Хлопнула калиткой — и через дорогу к соседке: не то спасаться, переждать, не то жаловаться на невестку.

«Вот тоже дура! Зачем об пол?»

Ужухов однажды видел в кино, как женщина, осерчав, ударила тарелкой об пол... Это его тогда удивило. И сейчас — зачем? Надо бы тарелкой или миской запустить в эту самую старую ведьму... У своего глазка, когда заметил бегущую старуху, он даже как бы подался вперед —

вылезти бы, догнать да как следует... Жизнь у него была не сладкой, и в этой жизни повелось ничего безнаказанным не оставлять. А тут, смотрите, черепки — себе же убыток! — а эта стерва сидит сейчас у соседей и ухмыляется, что извела, довела невестку...

3

В наступившей тишине почувствовал, как проснулся голод. Но тут же — и прошлая проклятая ночь...

«Эх, была не была, попробую».

В темноте, на ощупь нашел свой мешок с остатками харчей. Тишина вокруг была такая, что слышно, как прошуршал мешок по земле. И вдруг вспомнил: «...Пустая дача, она одна. Не старуха, так молодая, все равно одна».

...В любое, даже злое дело входит душа. Не хитро — если уж на это пошел — встречному неизвестному сказать на темной улице: «Отдай!» — ведь и тот и другой только что появились и тут же сгинут. Но здесь! Ужухов представил, как вылезает из подполья, как неслышно и страшно он вдруг возникает перед Надеждой. Нет, она не одна, и она не встречная — с ней вместе несчастная судьба, попреки в куске хлеба, муж-дубина, свекровь-ведьма, а теперь, оказывается, еще и ситцевая занавеска была — бедность... Нет, тут «отдай» в горле застрянет.

Осторожно прислушиваясь к больному зубу, положил пол-ломтика своей мраморной бараньей колбасы на правую, здоровую сторону. Потом, так же осторожно,— кусочек хлеба, но хлеб был черствый («Вот уж сколько я тут сижу!»). И он его предварительно обмакнул в бидончик с водой. Так повторил раза три-четыре,— ничего... Еще и еще — уже посмелее.

И вдруг заныл... Нет, не как ночью, но заныл. Выплюнул хлеб, взял на щеку воду — легче. Но вода согрелась и сквозь нее — боль. Взял новую воду...

В этой возне среди подпольной темноты — нудной и мучительной — только один огонек: все лягут, затихнут, и тогда скорее к черту, на волю, в аптеку, к зубодеру...

— Федя приехал?

Это ведьма вернулась. Спрашивает громко, будто ничего не было, но на ступеньке приостановилась, боится входить на террасу: а вдруг невестка одумалась, за ум взялась и теперь не об пол, а в нее, ведьму, тарелкой запустит?

Но ей никто не отвечает, и она, поднявшись на террасу, настороженно проходит внутрь дачи. Оттуда доносятся

короткие: «Федя», «Федор», и Ужухов, выплевывая согревшуюся воду и беря глоток холодной, вдруг вспоминает, подносит запястье к глазам. Часы не видны, светятся только стрелки. Вот это да! — уже одиннадцатый час вечера. И он тоже, как те, верхние, удивлен: хозяин давно должен был приехать. Задерживает, черт! Пока не приедет, пока все не улягутся, не смоешься из этой могилы...

Где-то поблизости раздаются возбужденные голоса, и Ужухов бросается к глазку. Там темно и черно, как и тут, в подполье, но потом проступают — совсем уже черные — стволы деревьев на краю участка, ограда, а за ней — черные силуэты людей с запрокинутыми головами.

— Летит! Летит!..

— Где?

— Вот...

Ужухов быстро пригибается перед своим глазком, чтоб тоже — на небо, на спутник... Но ни черта не видно — в эту дырку и верхушки деревьев не показываются!

От резкого движения боль ударяет в зуб, и он, мыча, чертыхаясь, схватывается за воду, за бидончик, в котором уже на донышке... И пока боль отпускает, успевает подумать, что вот люди радуются, а он тут как пес подзаборный... И даже не это, а то, что им от этого полета ни тепло, ни холодно, а они все же вот собрались вместе, вместе долдонят, показывают... Значит, дело такое, что все, не сговариваясь,— в кучу, а он один...

* * *

Хозяин провалился, загулял, черт! Ужухов проклинал его — давно мог бы смотаться, а из-за этой дубины горел свет во всех окнах, женщины не спали, ждали... Старуха все время шлялась через террасу к калитке и смотрела, дура, на дорогу, будто от этого скорее сыночек вернется.

Вода кончилась, и теперь за неимением другого он прикладывал к щеке пустой бидон. Тонкий металл — только что холодный — быстро нагревался, и Ужухов вертел, будто выслушивал бидон, ища в нем прохладного места. При переворачивании настырно брякала бидонная дужка — это могли услышать,— а в темноте поймать, придержать ее было трудно.

...Около двенадцати ночи хозяин наконец заявился. Ужухов, затолкав все свое имущество в мешок, сидел уже

не у глазка, а наготове у полупритворенной дверцы выхода. Скоро затихнут шаги, голоса — и на волю... Бидон был уложен, и Ужухов теперь время от времени сквозь полусжатые зубы, чуть присвистывая, потягивал воздух. Холодная струйка охлаждала, как-то успокаивала зуб.

Нет, в доме не затихало. Женщины в комнатах, собирая ужин, гремели посудой, но голоса Пузыревского не было там слышно. Ужухов заглянул в полупритворенную дверцу,— оказывается, хозяин еще возился около своей «Волги». Вгляделся: тащит из машины какой-то мешок, в сарайчик, а там дверь открыта, висит фонарик, и хозяин заталкивает мешок куда-то вниз... В его движениях что-то чудно́е, знакомое — не тот спесивый дородный дядя в дорогой сиреневой тройке, а... Ну да, тетечка Аграфена Агафоновна! Хоть та была и баба, а похоже — тоже так вот, ужимаясь, неслышно, как тень черная, прятала, бывало, добытое добро в кладовку...

Жена, наверное, заждалась с ужином и вышла позвать мужа. Она подходит к нему, когда он несет другой мешок в сарайчик и не видит ее.

— Федор, ты скоро?

Хозяин быстро обертывается на оклик, в звездном свете блестят его глаза, а руки — туда-сюда, будто не зная, куда девать мешок: нести, спрятать, бросить?..

(...Так тоже было: раз Аграфену за таким делом окликнули — она чуть не грохнулась...)

Наверно, Надежда замечает и этот мешок, и руки, и то, что муж, как тень черная, шарахнулся. Она — к нему, но видит что-то в машине и — туда. А там еще мешок.

— Что это? Откуда это? — Из разворошенного мешка что-то лезет, пышно клубится.— Что это? Зачем это?

Она, бедная, все уже понимает — не по мешку, а по мужниному испугу,— но, точно без памяти, твердит свое: что это да что это?

Хозяин, отбросив свою ношу, налетает на жену, вырывает мешок.

— Оставь! Не лезь!

Но она опять за мешок.

— Откуда это?.. Что? Говори! И почему тут яма?..

Они, борясь, подаются в сторону, и Ужухов, чтоб видеть — скорее дверцу пошире, но опаздывает: отброшенная хозяйка уже летит на траву...

На шум выбегает старуха. Пузыревский цыкает и

на нее: «Тише, вы!», но старуха с причитаниями набрасывается на невестку.

Зуб свербит — Ужухов забывает тянуть воздух — и от злости: «То в дом боялась войти, теперь счеты сводит!»

Надежда поднялась, но не уходит. Белое платье на черной зелени не шелохнется, но, видно, дамочка сама не в себе, кипит.

— Если ты сейчас...— шепотом, но раздельно говорит она.— Если сейчас мне не объяснишь, то я... позвоню...

Хозяин чертыхаясь подбегает к ней, замахивается. Ведьма — сынка поддержать — тоже с кулаками...

И тут Ужухов нежданно-негаданно отшвыривает дверцу подполья и выскакивает на волю. Ночной ветер в лицо, тело наконец-то разогнуто в рост — счастье! Но внутри все горит:

«Шпана! Двое на одну!»

И с ужимистой, на носках, неслышной, а потому страшной походкой — той походкой, с которой ребята на окраине налетают на обидчика,— приземистый Ужухов сбоку подскакивает к дородному Пузыревскому и быстро, незаметно — как и полагается в настоящей подножке — выставляет сзади него правую ногу и наотмашь бьет его по лицу. Тот, ища опоры, подается назад, но запинается и столбом, грузно валится на гравий...

Все пришептывая, будто перед кем оправдываясь: «Шпана! Двое на одну!», Ужухов хватает свой легкий мешок и, удивляясь, что сзади ни шума, ни погони («Верно, с непривычки опупели!»), неслышно, бестелесно, как тень, только из-за зуба чуть присвистывая, проскальзывает в калитку и исчезает в ночи.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ДНЯ

1

Пастухов Яков Петрович — заведующий овощным магазином на Б-й улице в Москве — был весельчаком, балагуром и однажды за буфетной стойкой поспорил с приятелем, что узнает любой магазин с завязанными глазами,

узнает, чем он торгует. Тут же было нанято такси, которое медленно стало объезжать магазины. С завязанными глазами, поддерживаемый приятелями, как архиерей, под локотки, Яков Петрович входил в дверь и почти с порога, на удивление всем, объявлял, какая здесь торговля. Спор был им выигран, и Пастухов тут же объяснил:

— Да по запаху, братцы! Очень просто! В хозяйственных товарах пахнет, понятно, олифой, в кондитерских — ванилью, в мануфактурных — ситцевой краской, в обувных — кожей, в галантерее — тоже кожей, но особой... А в последнем магазине, куда вы меня ввели, ничем таким не пахло, и это, конечно, ювелирный! Золото и бриллианты не имеют аромата...

Вот этот-то знаток торговых ароматов и был удивлен утром двадцать шестого августа, когда, сняв запоры, вместе с продавщицами вступил в свой овощной магазин. Это пахучее заведение сейчас, в конце августа, у левых прилавков благоухало яблоками, у правых — свежей капустой, петрушкой, сельдереем. Удивило, конечно, не это, знакомое, ежедневное, а новый, какой-то чужой запах, чуть кисловатый, с горчинкой, который всеведущий Пастухов определил как в е щ е в о й (но что именно, он сказать не мог), что, конечно, было противоестественно для продовольственного магазина.

Любопытствуя, добродушно поблескивая веселыми глазами, он стал обходить, приглядываться к полкам, ларям, прилавкам. За ним следом ходили три продавщицы, по молодости лет довольные тем, что можно пока не надевать свои унылые клеенчатые фартуки и не становиться за прилавок, а надо вместе с заведующим выискивать какой-то таинственный запах, который, по правде говоря, они не очень-то чуяли.

— Вот здесь, Яков Петрович,— сказала толстенькая продавщица Маша,— будто слышнее, будто запахом больше тянет.

И тут между ларями с капустой и с картошкой все увидали пролом в стене...

Ну, уж это было событие! Это уж не запах, который мог почудиться, а...

Пастухов, только что с добродушно-озабоченным видом обходивший свое заведение, быстро обернулся к девушкам, и те увидели на его еще более порозовевшем лице остановившиеся глаза.

Но тут же он стал действовать. Приказал первой только что вошедшей старухе-покупательнице удалиться; на дверь — щеколду и табличку рядом «Закрыто»; продавщицам — отойти от пролома и не ходить, не следить по помещению («Чтобы все было в точности! — на ходу выкрикнул он.— Сейчас это не торговая точка, а место преступления!»). А сам побежал к телефону.

Пока поджидали людей из уголовного розыска, девушки-продавщицы, загнанные Пастуховым в дальний угол магазина, испуганно переговаривались:

— Не за капустой же к нам лезли? Не за картошкой?..

— А яблоки? Десять рублей кило!

И тут поднимались на цыпочки, вглядывались в наклоненные ящики с яблоками, стоящие в дальнем конце магазина.

— А персики? Двенадцать рублей. А сливы?

— Ну, сливы не станут — шесть рублей.

И смотрели на персики. Нет, все было цело. Во всяком случае, отсюда, из угла, так казалось.

— Погодите, погодите, девочки! А кладовка! Может, из кладовки?..

Вернувшемуся от телефона Пастухову не терпелось возразить.

— Балаболки вы! — Это обращение при таких событиях было не обидным.— Не к нам ведь лезли! А от нас. Вы посмотрите, куда пролом сделан...

Они было двинулись к дыре в стене, но он цыкнул на них — не ходить, не следить. Да, конечно, и не надо было ходить: меховой магазин... Ну да, раз пролом справа, значит, вор от них лез в соседний меховой магазин... И теперь поняли, что это за кислый с горчинкой в е щ е в о й запах — его через дыру натянуло от соседнего меха и мездры.

2

Оперативный уполномоченный, приехавший с двумя сотрудниками, был молодой, голенастый, с девичьим румянцем на щеках, но хмурый, задумчивый. Пастухов, любивший даже в официальных отношениях домашний тон, почтительно осведомился о его имени-отчестве, и тот вместо ожидаемого простого «Володя» ответил: «Владимир Константинович».

Хмурым и задумчивым Володя был не от природы, а потому, что ему, как и многим молодым специалистам, имеющим дело, связанное с появлением на народе, хотелось казаться опытнее, умнее, то есть старше своих лет. Это безобидное, милое и обычное притворство Пастухов так и понял и от доброты поддержал его. «Вы как полагаете, Владимир Константинович?» или «Вы как мыслите, Владимир Константинович?» — обращался он к нему.

Володя, вместе с помощниками обследуя место преступления — пролом, торговый зал, заднюю комнату, полагал и мыслил, но доброму Пастухову ничего об этом не сообщал, ибо именно так и поступал бы незабываемый Леонтий Савельевич — в свое время учитель и наставник.

Однако, несмотря на эту необщительность, Яков Петрович видел, что молодой человек находится в каком-то затруднении.

— Меховой магазин открывается в одиннадцать? — спросил Володя, когда все осмотрел и обо всем расспросил.

— Так точно! — отрапортовал Пастухов.— Вы, конечно, желали бы взглянуть туда пораньше, сейчас?

Володя задумался, и, видно, по-настоящему.

— Нет, не желал бы,— не сразу и хмуро ответил он, и чувствовалось, что это-то его и занимает: сейчас или не сейчас.— До одиннадцати осталось всего сорок минут. Подождем! — неуверенно, но тоже с умным, задумчивым взором прибавил он.

Володя погрузился в долгое размышление, и вдруг все это с него слетело — хмурь, важность, задумчивый взор. Он озабоченно, уже, видно, осененный догадкой, снова — но теперь живо, нетерпеливо — подошел к пролому в стене, заглянул внутрь. Попросил у девушек-продавщиц зеркальце и, на вытянутой руке высунув его, как перископ, в пролом, провел им по всей окружности, видя теперь дыру со стороны мехового магазина...

И тут будто сквозь угрюмые тучи ударил веселый, восхитительный луч солнца. Володя засмеялся. Хмурь сошла с его лица, на щеках с девичьим румянцем — вдруг ямки. Он быстро подошел к Пастухову.

— Простите, вас как зовут? — с непонятной веселой любезностью спросил он и, узнав, радостно проговорил: — Вот именно, будем ждать, Яков Петрович! Не сейчас, а будем ждать...

Впрочем, это был действительно только луч — хмурь

опять заволокла Володино лицо. Он, видимо, понял, что его радостное оживление может кое-кого навести на кое-какие мысли, догадки, а он не хотел, не мог по служебному положению этого сделать. И Володя вернулся к личине умного, опытного и пожилого работника розыска.

* * *

В меховом магазине повторилось то же самое, что и при открытии овощного: директор и продавцы вошли в помещение и почти тут же заметили неровный — но так, что мог пролезть человек,— пролом в левой стене, смежной с овощным магазином.

Поднялась суета. Часть продавцов бросилась к полкам, шкафам, чтобы установить пропажу, другие — к дыре в стене.

Володя вместе с одним из своих сотрудников зашел в магазин следом, и на них — из-за таких событий — не обратили внимания. Входя, он проверил, что табличка «Закрыто» еще висит на двери, задвинул засов и подошел к людям, столпившимся неподалеку от пролома.

Внизу пролома лежали вынутые кирпичи, и какой-то смышленный продавец приказал: ни к ним, ни к дыре до прихода угрозыска не подходить. Возбужденно, перебивая друг друга, продавцы говорили об одном:

— От нас лезли.

— Нет, к нам.

— От нас...

— Это что же! От чернобурок, от соболей полезли за капустой, да? Рубль кило! Да? Картина!

— Ты меня не выставляй! Я говорю, что вчера перед закрытием он где-нибудь у нас в магазине затаился, а ночью пробил стену и вылез в овощной! У них черный ход ведь на щепочку запирается!

У Володи тревожно мелькнуло: «Могло быть и так...». Недавно, когда он еще находился в овощном, с ним произошло важное незримое событие: он сменил одну версию на другую. Это было не так приятно: поверил, утвердился в одном, и вдруг новая версия, как луч, осветила все происшедшее, и ему все стало ясно. Он тогда засмеялся, он обрадовался, что перед ним такое простое, а потому эффектное дело. Но сейчас, услышав новый для себя вариант — вор, ища из мехового магазина безопасный выход,

пробил стену и вылез через черный ход овощного,— встревожился. Это опрокидывало его новую версию. Однако ненадолго: он вспомнил, что черный ход в овощном был закрыт не на щепочку. Но, может быть, тогда направляют его на ложный след? И он стал всматриваться в человека, который сказал это. Нет, ничего такого не было — светлоглазый, спокойный, рассудительный (это он распорядился не подходить близко к пролому).

— А могло быть и обратно!— наступал на этого светлоглазого худощавый, смотрящий исподлобья молодой продавец.— Обратно! Сперва он вынул в овощном эту щепку, а потом разобрал стену и влез к нам... С улицы-то к нам ведь ни один дурак не полезет. А ушел тем же щепным ходом, которым и вошел.

Кто-то сказал, что могло быть и так, но Володя про себя улыбнулся: «Вот этого-то уж никак не могло быть!» Он теперь крепко держался за свою новую версию, ибо она была, по его мнению, и правильной и единственной.

...Из заднего помещения магазина вышли трое. Володя догадался, что представительный человек с бледным озабоченным лицом, устало идущий впереди, директор магазина. Подойдя к своим людям, стоящим у пролома, директор сказал, кивая на двух пришедших с ним продавцов, которые, видимо, ему помогали, что похищено семнадцать чернобурок и шесть соболей.

— Почему-то из правого шкафа соболей не взял,— сказал он, грустно усмехнувшись,— а только тех, которые были вместе с чернобурками.

— Спешил, наверное, или не догадался,— заметил светлоглазый продавец.— А под стеклом, Федор Трофимыч, смотрели?

— Под стеклом тоже цело...— Директор кивнул на пролом.— Звонил... Оперуполномоченный уже выехал.

Володя понял, что пора представиться. Он шагнул вперед.

— Я уже здесь, товарищ директор...— сказал он, смущенно улыбаясь.— И не потому, что оказался сверхоперативным, а просто потому, что ваш овощной сосед,— он показал на пробравшегося в магазин краснолицего Пастухова,— раньше открывает свое заведение и потому раньше позвонил.

И он, попросив отойти, не загораживать свет, приступил к осмотру. Позади него продолжалось обсуждение

происшедшего, что для него было, пожалуй, более важным, чем осмотр пролома, который он достаточно хорошо исследовал, еще находясь в овощном.

— Тут некоторые граждане безответственно выступают! — услышал он громкий обиженный голос Пастухова, голос, каким оправдываются на общих собраниях.— Будто у нас черный ход запирается черт те на что! Нет-с! Никакой там щепки не было. Запор там правильный и по полной форме...

— Это как предположение! — отозвался худощавый молодой продавец, смотрящий исподлобья.— В том смысле, что не строго. Кто за морковкой, за капустой полезет? Он-то не кролик был!

— Безразлично-с! Для нас, государственных служащих,— Пастухов все еще чувствовал себя как на общем собрании,— все равно, что десять копеек, что десять тысяч рублей! Должны сохранять! Морковка! Капуста! — Он насмешливо гмыкнул.— А персики?

«Кому что! — весело подумал Володя, как заправский сыщик, в лупу разглядывающий края пролома.— У ювелиров на первом месте бриллианты и платина, а у этих капустников — персики!»

Весел он был потому, что тот самый луч догадки, который принес ему вторую версию, опять дал о себе знать. Луч лег на два чистых пятна (Леонтий Савельевич в свое время говорил о них: «Не только горячая, но и очень холодная вода обжигает руку. Так и вычищенное пятно — тоже пятно!»). Правда, такие пятна призрачны: то чуть заметны — и то, пожалуй, только потому, что ждешь их! — то при каком-то повороте к свету и совсем исчезают...

Так и сегодня: то будто есть, то будто нет... Но они должны быть!

Еще поджидая в овощном открытия мехового магазина, Володя мысленно представил не только всю картину событий, согласно той последней версии, которую он принял, но увидел и подробности. Например, крошечные крупинки кирпича, которые попали проломщику стены под колени и были им, незаметно для него, раздавлены... Предусмотрительный вор мог разложить газету — он и это тогда представил,— но кирпичные крошки, пыль попали и на газету. И их потом пришлось счищать...

Это было еще в овощном, в воображении, а вот они и в действительности!.. Версия его, пугая своей простотой

и отчетливостью, укреплялась все более и более, и Володя боялся сейчас только одного: не полетело бы все это к черту! Уж очень откровенно, настойчиво все идет одно к одному — не ведет ли его, мальчишку, кто-то хитроумный не в ту сторону?..

— Я тоже думаю, что тут дело не в щепке! — сказал осанистый директор мехового магазина, обращаясь к Володе, который, поигрывая лупой, отошел от пролома.— Но злоумышленник мог в одном из ваших подсобных помещений,— он посмотрел на Пастухова,— спрятаться за пустые ящики, дождаться закрытия и потом начать разбирать стену, ведущую к нам...

Это была еще одна версия (не считая его — самой правильной версии), и Володя тут же в душе ее отверг. Однако выслушал ее со вниманием и даже как бы задумался над ней.

Пастухов же не принял этой версии, потому что она опять как-то задевала его магазин.

— Извиняюсь,— сказал он, сдерживаясь, но багровея,— никаких пустых ящиков мы в помещении не держим! Нам тогда не повернуться бы! Всю пустую тару мы выносим на двор-с! Да-с!

«Это удивительно! — подумал Володя.— Неглупые, видно, люди, а не видят главного. Говорят о каких-то дурацких ящиках! Разве в этом дело!..»

3

В чем же было дело?

...Привычное, знакомое, готовое влечет всех: и умудренных опытом, и таких молодых, голубоглазых, каким был Володя. Еще не доехав до заведения Пастухова, еще только садясь в машину, он, получив сведения в управлении о случившемся, уже составил быстрое, решительное мнение: раз пролом, то, конечно, лезли из овощного в меховой.

С этим он и приехал на место происшествия, с этим и начал осмотр. И все последующее держало его на этом, принятом заранее, на самом естественном решении. Это и было его первой версией.

Когда же ударил восхитительный луч, осенивший его догадки? Когда появилась новая версия, отбросившая первую? Тогда, когда он по-новому увидел, понял пролом.

Но это было потом. Сейчас же, приехав в овощной магазин и стоя у дыры, пробитой в стене, Володя видел, что

вор попался не простой, а лукавый, себе на уме — он решил обмануть его, Володю, и сделал, так сказать, обратный пролом, будто лезли не в меховой, а из мехового в овощной... Этот похититель мехов (о пропаже шкур Володя тогда еще не знал, но, конечно, догадывался) хочет убедить простаков, что он, тать ночной, не столько интересовался чернобурками и соболями, сколько морковью и репчатым луком! Даже вон для этого — не шуточное дело! — пролом сделал...

Установив, разоблачив эту хитрость, он не без гордости подумал о себе: «Ничего! Ничего! Справимся!»

Однако успокаивать себя было рано. Этот ночной молодец оставил после себя мудреные задачи, странности.

Первая — пролом сделан со стороны овощного магазина, а хода, которым злоумышленник проник в овощной, не было. Сотрудники, приехавшие с Володей, установили, что ни черный, ни парадный ход, ни двери, ни окна не были потревожены.

Вторая странность. Предположим, что вор не проникал в овощной магазин, а еще вчера, во время торговли этого магазина, где-то тут затаился (о чем позже говорили меховщики). Но тогда получалось, что вор ночью, пробравшись через пролом из овощного в меховой и совершив там кражу, еще... не ушел на волю! Он прячется тут, в овощном, или там, в меховом. Но тут его не было, уйти же через дверь при открытии овощного магазина он тоже не мог, ибо входная дверь была тотчас заперта, и, кроме одной старухи-покупательницы, только что вошедшей и тут же удаленной, никто из посторонних в магазин не входил и не выходил. Это показали и Пастухов, и его девушки-продавщицы. Подозревать же этих людей в общем сговоре не было основания.

Третья странность. Остается единственное объяснение: вор после кражи находится еще там, в меховом, или же нашел себе там дорогу на волю. Но первое предположение глупо: не будет же он ждать, пока его поймают, а на волю он тоже не вышел, ибо еще до открытия мехового магазина Володя попросил своих сопутствующих товарищей осмотреть в меховом все входы и выходы, и там тоже все было в порядке.

Как бы Леонтий Савельевич объяснил эти чертовы загадки? Вор был, пролом сделан, кража, как позже, конечно, выяснится, совершена, а как подлец-молодец вошел и

как вышел — он не сообщил, ниточки не оставил. Володя даже на какую-то минуту опустил руки. Нет, первая готовая версия, с которой он приехал на место происшествия, еще держала его в плену. Нет, луч новой догадки еще не блеснул, и молодой следопыт хмурился непритворно — надо было по-настоящему поразмыслить.

Какие же выводы из этих бесплотных и бесследных появлений вора? И Володя за то время, что оставалось до открытия мехового магазина, налег на логику.

Первый вывод. Кража совершена — скоро будет известно — в меховом магазине, и это главная арена событий. Помещение же овощного могло быть использовано вором только как путь в меховой.

Второй вывод. Как же он проник в меховой? Так как ни в том, ни в другом магазине не было взлома, выбитых окон и так далее, то несомненно, что вор пользовался ключами и проник в магазин, так сказать, нормальным ходом.

Третий вывод. А как ушел из мехового магазина с тяжелой поклажей? Естественно, тем же ходом, каким и вошел. То есть пользуясь теми же ключами.

Четвертый вывод. Но вот ключами от какого магазина он пользовался для входа в меховой, а потом и для выхода из него? Если бы ключами от овощного, то он, войдя в него, должен был бы пробить в стене ход, чтобы попасть в смежный меховой. Если же ключами от мехового, то, понятно, никакого пролома делать не надо, а прямо идти к меху...

Пятый, итоговый вывод напрашивался сам собой. Поскольку пролом есть, следовательно, вор пользовался ключами овощного магазина. Открыв его, он стал разбирать стену, смежную с меховым магазином. Сделав пролом, проник туда, забрал меха и тем же ходом — через пролом, через дверь овощного магазина (заперев ее за собой) — исчез.

Сама собой пришла мысль: не Пастухов ли? Ключи от магазина ведь у него! Подозрение, возникнув, все вокруг делает подозрительным, на все ложится его черный свет. Почему он так ласков, предупредителен с работниками угрозыска? Почему расспрашивает? Почему не позволил девушкам подходить к пролому? Может, не хотел, чтобы они нарушали его «обратного» вида?..

Но черный свет отнесло в сторону, и увиделся веселый, белозубый «вор-джентльмен», портрет которого висит в их

специальном музее. Тот никогда не вырезал дверных замков, не портил ни дверей, ни окон — считал это пошлостью,— а, прекрасно чувствуя замки, открывал их набором ключей. Джентльменом же его назвали за то, что украв, он добросердечно и благородно закрывал за собой замок. «Чтобы,— как говаривал он,— какая-нибудь шпана не влезла бы после меня». Ну, тот отбывает свое, но ведь могли быть ученики.

Мысли теснились у Володи, пока он, дожидаясь открытия мехового магазина (он не хотел лезть туда через пролом и тем самым как-то «портить» его), посиживал на табуретке в пахучем заведении Пастухова. Окруженный ароматами капусты, петрушки и сельдерея, он чувствовал себя как на огороде у тети Клавы на станции Удельная, но только там, покусывая морковку, можно было безмятежно лежать, смотря в небо, а тут надо было думать и думать...

Но он не знал, что луч уже пробивался сквозь хмурь...

Покуривая, Володя посматривал на пролом и вдруг увидел странное: вокруг пролома на штукатурке, крашенной светло-зеленой масляной краской, ни одной щербинки! Ведь, готовясь вынимать скрытые под штукатуркой кирпичи, проломщик стены неизбежно должен долотом то там, то здесь нащупать швы кирпичной кладки, которые он и будет долбить, освобождая кирпичи от цементного плена. А тут на штукатурке этих ощупываний-щербинок не было! Что же это? Как же это?

Он быстро, нетерпеливо подошел к пролому. Упираясь руками в стену, просунув голову в дыру, заглянул внутрь — в меховой магазин. Но, не увидев то, что ему было нужно, попросил у девушек-продавщиц, сидящих группкой в углу магазина, зеркальце. Тотчас три руки, вынув зеркальца из своих сумочек, стали быстро смахивать с них пудру, протирать. Но, пошептавшись, девушки выбрали только одно зеркальце — покрасивее, с желтым ободком, и толстенькая Маша, пробежав через торговый зал, почтительно передала его Володе.

На вытянутой руке, высунув зеркало, как перископ, в пролом и ведя им по краю отверстия, Володя оглядел штукатурку со стороны мехового магазина, которая там была окрашена желтой краской.

Ну да! Щербинки были тут! Белые по желтому полю. Отсюда, из мехового, ощупывали швы кладки. Именно отсюда, из мехового, делали пролом!

А он-то!..

Он-то все время думал, что хитрый ворюга финтил, фокусничал — делал пролом под «о б р а т н ы й»! А пролом, оказывается, самый простой, «п р я м о й»...

Как же это произошло?

При проломе стены кирпичи в с е г д а вынимаются н а с е б я. Это так же неизбежно и естественно, как дверь, открываемую «на себя», нельзя открыть «от себя», или как нельзя копать яму, не выгребая землю на себя, на поверхность.

И Володя, конечно, знал это. И, еще находясь в машине, еще по дороге к месту событий, он уже представил готовую, само собой напрашивающуюся картину: лезли из овощного магазина в меховой, от капусты к соболям, и, следовательно, вынутые при проломе кирпичи лежат н а п о л у о в о щ н о г о магазина. Но, приехав к пролому, он увидел кирпичи не тут, а п о т у с т о р о н у отверстия — в м е х о в о м магазине. Инерция предвзятого, готового решения была так сильна, что Володю это не смутило — тотчас пришло этому объяснение: вор не простой, а изворотливый, и он для отвода глаз п о с л е пролома п е р е л о ж и л кирпичи из овощного в меховой и устроил, так сказать, «обратный» пролом.

Это и было его первой версией, из которой он исходил и которая породила столько странностей.

И только вот сейчас щербинки на штукатурке мехового магазина выдали истинное положение, только сейчас Володя п о н я л пролом.

«И как это я сразу их не хватился! Сразу же не увидел, что тут, в овощном, щербинок нет!» И Володя с горечью подумал, что далеко ему до опытного, умного оперативника, далеко до вершины — до Леонтия Савельевича.

Однако желанный луч блеснул, и хмурь с Володиного лица слетела, чело его прояснилось — веселый, прекрасный свет открытия озарил его. Он засмеялся. На щеках с девичьим румянцем — вдруг ямки. И еще радость: Пастухов, который ему нравился, теперь, оказывается, чист, невинен — ведь вор пользовался не его ключами, а ключами мехового магазина! И, не зная, как замять бывшее подозрение, он подошел к Пастухову, ласково, весело заговорил с ним.

Однако не ребячество ли в его положении так явно высказывать свое настроение! Не наведет ли это кого-то

на что-то... И он, насупившись, стал как бы оглядывать свой счастливый луч, свое открытие.

...Итак, главный вывод, что вор пользовался ключами, остается в силе. Только перемена: ключами не овощного, а мехового магазина. Но, пользуясь этими ключами, не надо было делать пролома в овощном. Но вор это сделал. Сумасшедший? Нет, глупый или неопытный, неумелый, но замысливший обмануть. Однако не в коня корм! Будь рядом ювелирный магазин, мануфактурный или хотя бы галантерейный — это как-то путало бы карты, не сразу было понятно, откуда и куда лезли. Но делать дыру к укропу и к картошке?!

Вот это и стало новой Володиной версией: несмышленый (но старающийся быть смышленым!) новичок с ключами от мехового магазина.

4

Между тем в меховом магазине события шли узаконенным порядком: осматривались шкафы, из которых были похищены чернобурки и соболя; обследовались окна, двери; фотографировался в разных ракурсах пролом; производился опрос работников магазина: когда закрыли магазин, какие покупатели были перед закрытием, кто уходил последним, у кого хранятся ключи и так далее,— осматривалось, обследовалось, фотографировалось, опрашивалось.

Все это было нужно, узаконено, но Володе это казалось отцовскими кругами.

...Отец был давнишний книголюб, и во время нэпа, как он рассказывал, захаживал к частникам-букинистам. Завидев желанную, долго разыскиваемую им книгу, он не бросался к ней опрометью, не спрашивал, задыхаясь, сколько она стоит — за такой бы полусумасшедший вид он бы дорого заплатил! — а с безразличным лицом ходил кругами вокруг своего сокровища, прицениваясь к копеечным брошюркам, к аляповатым подарочным изданиям, ко всяким ненужным ему пустякам... Сделав несколько кругов, поманежив букиниста, он, не меняя голоса, даже позевывая, спрашивал и о ней: «Ну, а эта, Михал Михалыч, сколько стоит?» И покупал сокровище по сходной цене.

Так и Володя со своими осмотрами и опросами ходил кругами вокруг него.

Перед большой зеркальной витриной, около которой с внутренней стороны стоял Володя, шумела дневная улица, тяжело катили троллейбусы; ударяя в витринные стекла оглушительной дробью, пролетел мотоциклист... По тротуару у самой витрины, в которой красовались приподнятые чернобурки — будто драгоценные лисички по-собачьи «служили»,— сновали прохожие... И никто не знал, что свои круги Володе надо оставить и идти к нему, к сокровищу. Надо, но было страшно. Страшно потому, что, несмотря на счастливый луч, несмотря на полную уверенность,— вдруг мимо? А если в точку, то будет страшно, по-особенному страшно — за произведенный эффект: такой молодой и так сразу открыл! Так ли это?

Он отворачивается от витрины, где он будто что-то осматривал, и хотя уже есть план действия, но озноб охватывает спину. Не дожидаясь, когда он пройдет, Володя на длинных и, как ему кажется, негнущихся ногах идет через торговый зал к пролому. Слава богу, Сергей — один из помощников, фотографировавший пролом,— уже ждет его. Значит, с этого можно и начинать.

Он берет из рук Сергея, как уславливались, кусок какой-то старой пленки и начинает пытливо рассматривать ее на свет. Там — лодочная пристань на Москве-реке и их сотрудница Катя, балансируя, идет по дну лодки. Володя знал и этот день, и этот снимок Сергея, но сейчас в негативе все было наоборот: темная лодка — белая, а белое платье Кати — черное... Все же Сергей мог дать ему из своих запасов снимок более, так сказать, служебный. Впрочем, кроме него, этого никто не увидит, а для древнего фортеля «шапка горит!», фортеля, который есть даже в детских сказках, это все равно.

Володя рассматривает снимок и так и сяк, многозначительно гмыкая. Рассматривает, гмыкает до тех пор, пока не чувствует, что все сотрудники мехового магазина собрались у него за спиной. А это у них получается невольно: раз снимали, раз проявляли, раз рассматривают, значит, что-то предполагалось и что-то может быть обнаружено...

— Так... ну что же...— медленно и хмуро говорит Володя, опуская снимок и оборачиваясь.

Он находит глазами молодого, глядящего исподлобья продавца. Это не ускользает от других, и они тоже начинают на него посматривать.

— Ну что же... мои предположения,— продолжает он,— еще раз подтвердились,— и кивает на снимок.— Вор, совершая пролом, стоял на коленях и, вынимая кирпичи, не замечая того, намусорил около себя... Ну, кирпичные крошки, кирпичная пыль... Когда встал, он обнаружил на своих брюках у колен красно-бурые пятна. Он принялся их отряхивать, чистить, но кирпичная пыль, знаете, въедливая, и следы остались...

Он резко поворачивается к директору и, не повышая голоса, но отчетливо:

— Да-да, гражданин Пузыревский, остались, и так просто ручкой их не стряхнешь!..

«Ура! — В Володе все внутри кричит.— «Шапка горит» сыграла!»

Осанистый директор, пользуясь тем, что все отвлечены, все косо посматривают на молодого продавца, сделал неслышный шаг назад и, чуть нагнувшись, стал быстро теребить коленки на сиреневых брюках.

Володе, как молодому охотнику, хочется скорее подбежать, скорее уличить! Но незримый Леонтий Савельевич ведет его к цели не спеша.

— Я не совсем точно выразился! — учтиво говорит Володя, останавливаясь перед Пузыревским.— Сейчас кирпичных пятен нет! Вы их вчера хорошо вычистили. Даже слишком хорошо... И поверьте, если бы вы не схватились за колени, я бы и не подумал, что они были...

Нет, эффекта — полного, загаданного — не получилось. Уличенный не затрепетал, не зашатался, не пал на колени... Больше того — он просит оставить эти неуместные шутки о пятнах. Он даже, снисходительно улыбаясь, поведал, что у него дача, а дача — это мучение, где всегда какой-нибудь ремонт, доделки, и все такие дачники имеют дело то с кирпичом, то с известью...

Доверие и уважение к словам взрослого, которое возникает у подростка еще со школьной скамьи, переходят и на молодые годы. Володя на какой-то миг усомнился положительно во всем, но только на миг — все, начиная с ключей магазина, находившихся у директора, до нелепого, неумелого пролома, говорило, что счастливый луч не зря тогда блеснул... Да, не затрепетал, не зашатался, но когда врешь, надо уметь управлять лицом, говорил в свое время Леонтий Савельевич, а тут и улыбка, и благородное

негодование, а лицо белое, глаза испуганные и тоже какие-то белые...

Со стороны входной двери раздается настойчивый стук. Сергей идет туда и возвращается с молодой, раскрасневшейся женщиной. В руках ее черная лакированная сумочка с оборванной ручкой.

С быстротой, свойственной многим женщинам, она сразу и все замечает: и изменившееся лицо мужа, и некрасивую дыру в стене, и что-то выжидающих продавцов, и посторонних людей с какими-то ненатурально-спокойными, но осуждающими лицами. С тем же женским прозрением она из этих посторонних выбирает главного — высокого, нескладно сложенного молодого человека — и подходит к нему. Но, подойдя, молчит, нетерпеливо стараясь сцепить колечко оборванной ручки с колечком на лакированной сумочке.

— Вчера ночью...— Нет, колечки не цепляются, она, дернувшись, опускает, как бы отбрасывает сумочку.— Да, вчера ночью к нам на дачу привезли много меха... Да! Я хочу знать его происхождение...

5

На следствии по делу Пузыревского Ф. Т. Ужухов показал, что ночью с двадцать пятого на двадцать шестое августа, видя нападение двоих на одну, не утерпел, вылез из подполья и, оказав физическое воздействие на хозяина дома («Я хватил его по скуле и завалил с одного захода»), бежал прочь.

Дальнейшее развивалось так.

...В дачном поселке все было потушено, все черно, и только на платформе станции горели, покачиваясь, круглые фонари. Ужухов спросил в билетной кассе, где аптека,— оказалось, по ту сторону линии,— и, посасывая-присвистывая (зуб все терзал его), перешел рельсы и опять полез в темноту.

И аптека была потушенная и спящая. Ужухов застучал в дверь, поднял с постели сухонькую старушку в белом халате, и та, затеплив свет, дала ему сперва выпить пирамидон с анальгином, а потом протянула темный, пахучий от зубных капель комочек ваты. Он, стыдясь своих грязных рук, взял комочек и положил в дупло зуба.

Старушка стала выжидающе смотреть на него. А он — на нее. Все сейчас пропало, все сейчас отступило для них — было только одно: пройдет? не пройдет?

И вдруг — прошло...

— Ну, мамаша, спасли! Ну, мамаша, уважили! — приговаривал Ужухов, вертя головой и так и сяк, как бы пробуя, прочно ли исцеление.

Позвякивая своим мешком, в котором подавал голос пустой бидончик, он сбежал с крыльца аптеки под черное звездное небо, и сейчас не было человека счастливее его. И все вместе — и зуб прошел, и небо, а не пол над головой, и давнишняя охота разогнуться, подскочить... И еще что-то хорошее, что сразу не поймешь, только чувство, что здорово, фартово... Ну да, съездил этого меховщика, завалил как подкошенного... Нет, не это, а то, что заступился за хорошего человека.

«Да, заступился за хорошего человека!» — повторил он про себя.

И, натыкаясь на черные деревья и черные заборы, но радуясь этому, побежал к станции.

Все поезда, конечно, уже ушли, и Ужухов, выбрав у кассы тихий закуток с лавочкой, достав из мешка одеяло, с чувством вольного, свободного человека, у которого совесть чиста и дела прекрасны, заснул.

* * *

Место оказалось действительно укромное: и солнце поднялось, и люди сновали, а его никто не побеспокоил, не растолкал...

Спустил ноги с лавочки, сел, обтер лицо ладонями и огляделся.

Эта сторона была в тени, а там, через рельсы, все было в солнце, в народе, спешащем в Москву, на работу. Сюда прибегали только за билетом, и тогда через стену билетной кассы слышался двойной стук компостера — дырк-дырк — и человек убегал.

Ужухов сложил одеяло, стал заталкивать его в мешок и тут вспомнил свое вчерашнее, легкое, свободное и какое-то чистое чувство, с которым укладывался спать. Сейчас понял — это было от зуба, который перестал мучить. А так чему же радоваться — вот он, мешок, одеяло, бидончик, с которыми он был т а м! Был, хотел, по дела

не доделал... Народ сновал туда-сюда, касса выбивала билеты, от платформы только что отошла электричка с людьми на работу — на открытую, простую, безбоязненную работу,— и он стал думать о том, что и он так мог бы... Тоже вот в кассу, тоже дырк-дырк — и отправляйся!

И чтобы душой присоединиться к этому люду, он стал ругать недоделанное дело: сидел, как пес бездомный, под полом, не смей шелохнуться, а на него опивки выплескивали! И получалось: не потому дела не доделал, что не было возможности, а потому, что не хотел его доделывать. А раз так, то и он может жить и кормиться, как вот эти, с билетами...

Бывают такие дни, когда надо, хочется утвердиться на какой-то фартовой, удобной мысли, но она не дается. Вот и тут... Вынул папиросу, начал искать, охлопывать по карманам спички. И дохлопался до заднего, брючного кармана. А там что-то твердое, маленькое. Вынул, развернул бумажку — часы наручные... И сразу вспомнил давнишнюю поездку на электричке, руку с часами — с этими вот! — держащуюся из последних сил за вагонную перекладину... Вот это — да! Вот и присоединяйся к этим, с билетами! Раньше часы и часы — немудреный с л а м, а теперь гиря стопудовая, чтоб опять на дно... Можно, конечно, их в реку бросить и руки обтереть, но это не то...

Потянулся к соседу, чтоб прикурить, и вдруг, пристукивая каблучками по перронным доскам,— молодая хозяйка! По лицу Надежды — румянец пятнами, в руках лакированная черная сумочка с оборванной ручкой, а сама как во сне — ничего не видит, только кассу. Опять двойной дырк-дырк, и она уже там — через линию, к электричке на Москву...

«Ну вот, когда не надо! Наконец-то ведьма на даче одна!»

Но это не злит, не беспокоит — с этим в душе как-то уже покончено. Сейчас хочется вернуться к тому, что вчера, после зуба, было: легко, свободно, чисто на душе. И молодая хозяйка на той, московской, платформе как-то сейчас к месту, в масть. «За хорошего человека заступился»,— повторяет он вчерашнее, и сам будто лучше, будто красивее. Но тут же и часы — гиря стопудовая...

Электричка на Москву укатила, платформа освободилась от людей, обнаружились зеленые скамейки, которых

до этого не было видно, а за ними — пристанционный лужок на солнце с ползающей на четвереньках годовалой девочкой в розовом платье.

Эти четвереньки — но в темноте, в подполье — напомнили недавнее, и из недавнего последнее: узлы с мехом, вытаскиваемые из «Волги»...

«Стой, Василий! Замри! Другого такого случая не будет!»

Ну, да, мало того, что сдаст гирю, а еще и пропавшее меховое добро государству вернет! Неужто к такому человеку без сочувствия?..

Поползав по солнечному лужку, девочка, качаясь на толстых, но еще не окрепших ножках, встала и принялась махать ручонками всем и всему: людям, уже опять набиравшимся на платформе, солнцу на небе, траве на лужке...

Ужухов выкурил еще папиросу, переложил часы поближе, в боковой карман, и, насупившись, встал. Подошел к кассе — она была рядом — и почему-то громко, будто что-то подтверждая, потребовал билет.

Компостер и ему дважды, с отлетом, ухнул: дырк-дырк,— пробил тонкие, как иглой, дырки. Он поднял билет на свет: «26.VIII» светилось там — светилось, чтобы он мог запомнить этот день.

1958—60

ОГЛАВЛЕНИЕ

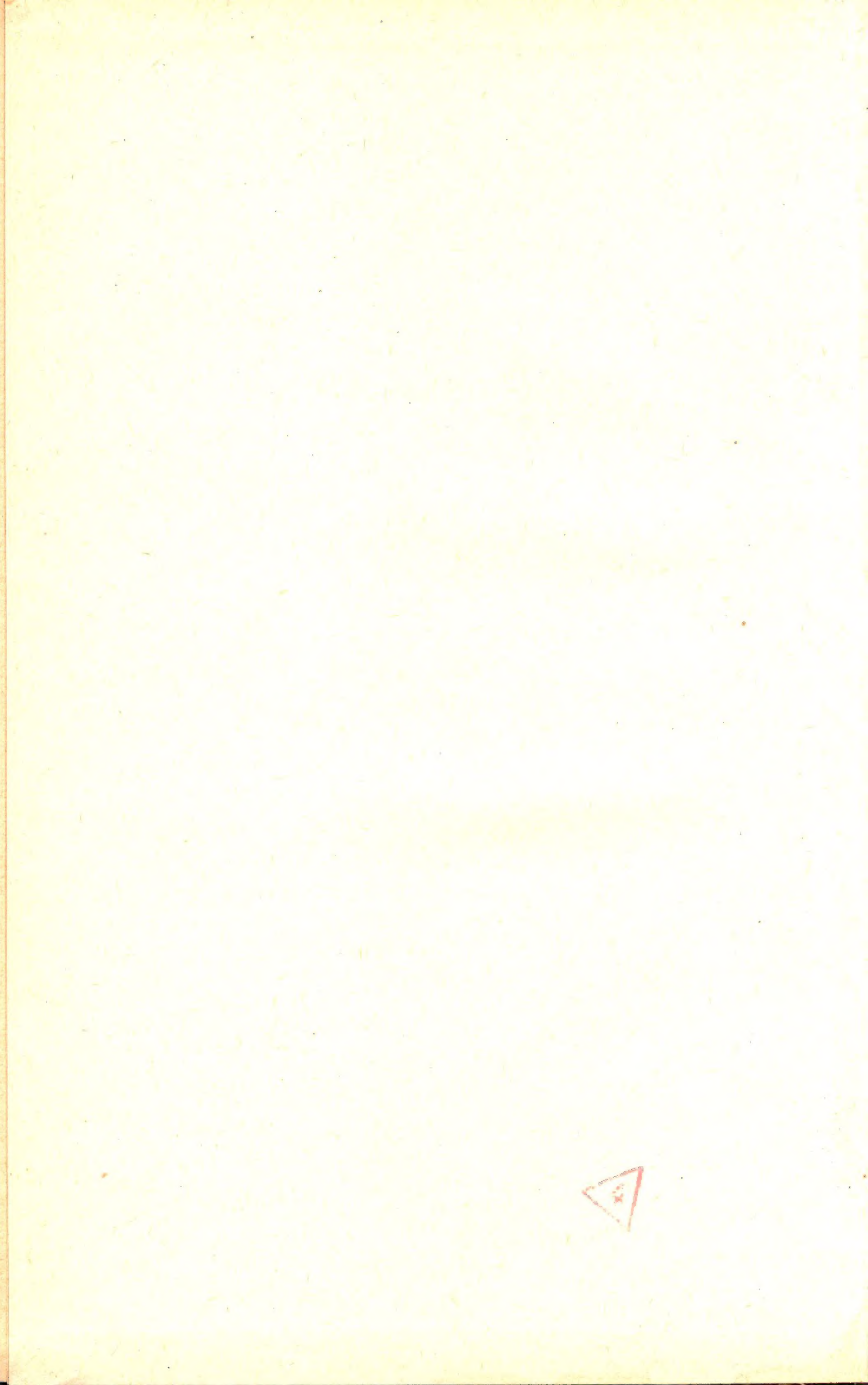
Николай Яковлевич Москвин

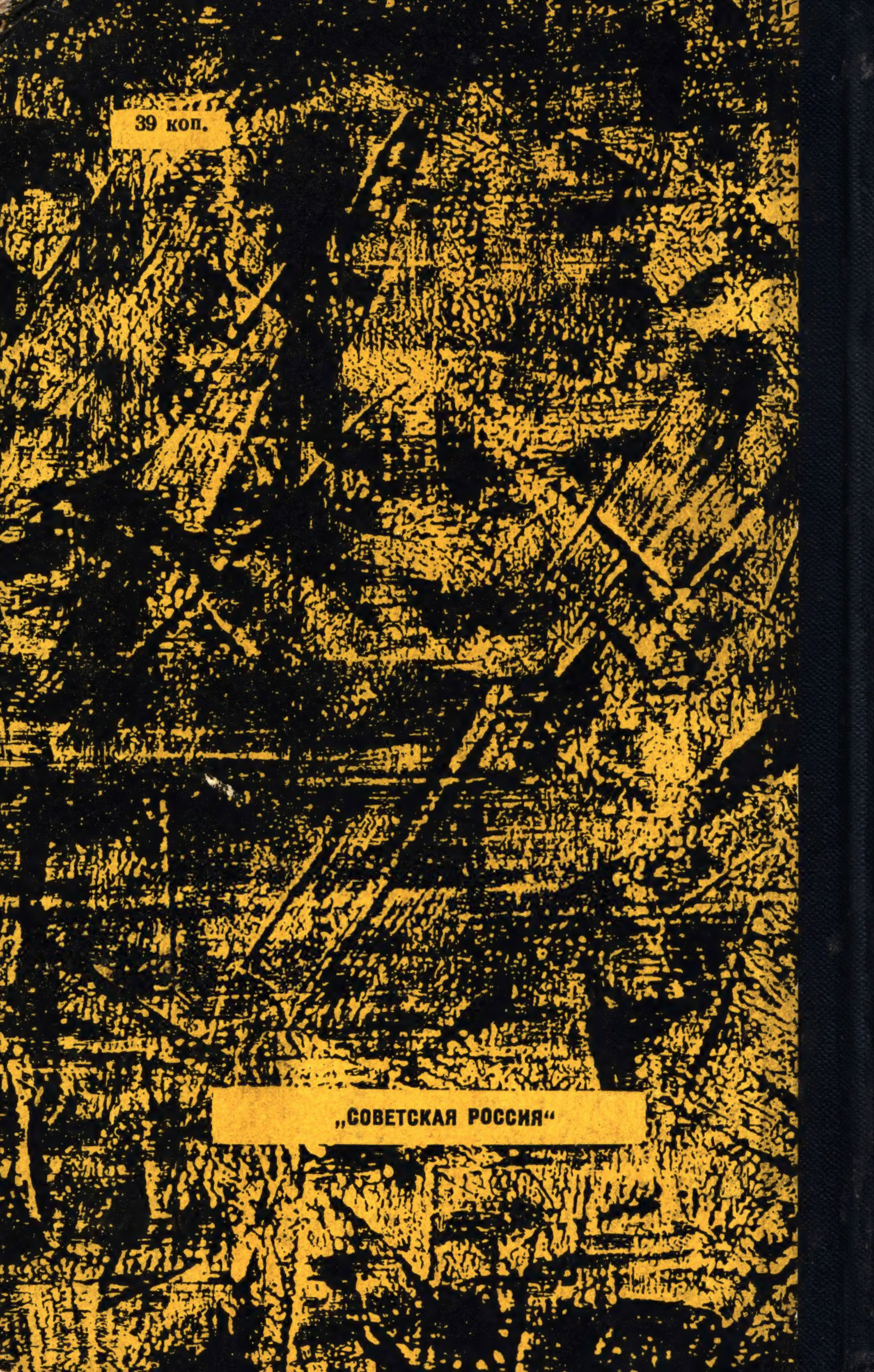
ОДИНОКИЙ ПОИСК
ДВА ДОЛГИХ ДНЯ

Художник В. А. Авдеев.
Редактор И. Н. Фомина. Художественный редактор Э. А. Розен.
Технический редактор В. А. Авдеева.

Сдано в набор 22/III—63 г. Подп. к печ. 24/VI—63 г.
Формат бум. 84×108 1/32. Физ. печ. л. 5,0. Усл. печ. л. 8,2.
Уч.-изд. л. 7,96. Изд. инд. ХЛ 475. А01682. Тираж 100 000 экз.
Цена 39 коп. в переплете. Заказ № 1695.

Издательство «Советская Россия». Москва, проезд Сапунова, 13/15.
Фабрика высокой печати издательства «Советская Россия», г. Электросталь, Школьная, 25.




39 коп.
„СОВЕТСКАЯ РОССИЯ“